

ВЕСИ

№ 8, 2017



Это было фантастическое путешествие малыша...

В этом угловом здании, до развала центра города, был отдел Союзпечати...

ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ...

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Это фантастическое путешествие малыша, спустя годы вернувшегося в свой родной городок.

На его месте мог быть любой, кому выпало горе и счастье родиться, прожить и все же остаться, несмотря ни на что, ребенком, влюбленным в свой городок.

С чего начинается город?

Одни ответят, что с главного собора. Другие скажут, что с центральной площади. Некоторые – с памятника в виде какого-нибудь вождя или танка. Кто – с колокольни, кто – с крепостных стен. Ценным ответом может стать – родительский дом. И у каждого обязательно найдется свой внутренний азимут определения точки, с которой начинается его город.

А я вам предлагаю – вокзал, с которого началось мое познание мира под названием «Бельцы». И вот этот маленький «ЗАПАДНЫЙ» вокзал станет для меня главной вехой и ориентиром, с которого начнется и продолжится линия моей судьбы.

В 1949-м с этого вокзала меня, годовалого, эшелон увозил на вечную ссылку в сталинскую Сибирь. Он же в 1956-м встречал меня – маленького «врага народа», увозил и привозил меня из армии.

Вокзал был свидетелем моих бесчисленных проводов друзей и приятелей, уезжавших навсегда...

А в 1970-х он устал считать мои поездки в столицу, куда я безрезультатно возил вязанками свои холсты, чтобы доказать право называться художником.

Этот «ЗАПАДНЫЙ» занюханный вокзальчик, специально построенный для публичных бесконечных встреч и разлук, радости и горьких слез, стал мне вратами познания моего города, мира и людей.

С чего начинается город и где он заканчивается? Этот вопрос за годы моего взросления оставался открытым.

И лишь тогда, когда меня, вынужденного покинуть родину, продолжал по жизни сопровождать бесконечный стук вагонных колес, пришло осознание, что от своего начала мне никогда и никуда не уехать...

«Как ты думаешь, с чего начинается город?» – спросил автора малыш.

В те далекие годы, крохотная, криво мощеная булыжником площадь малого ЗАПАДНОГО вокзала, за исключением времени прихода нескольких поездов, была всегда пустой и тоскливой.

Иногда сюда забредали подвыпившие солдатики, сбежавшие в самоволку, бездомные собаки, и здесь же разворачивался автобус № 1, чтобы уйти к другому большому вокзалу – СЕВЕРНОМУ.

Тут же стояла небольшая пивнушка и скучный приземистый продмаг, на углу которого всегда можно было купить вкусные, вынесенные прямо с маслозавода, жареные семечки.

Торговал ими угрюмый безногий инвалид, сидевший на укороченной табуретке. Перед табуреткой, прямо на асфальте находились три почерневшие от грязи и времени сумки, заполненные жареными семечками разных сортов и стаканами для развеса.

А в нашем городе все прогулки и гуляния без семечек не проходили.

Напротив торговца, у вокзала, возвышалось громадное деревянное сооружение, напоминающее по форме скворечник, со ступеньками к его окошку, в проеме которого стояли большие стеклянные трубки, заполненные разноцветными сиропами, а между ними размещался большой кран, разливающий газводу. За сиропными трубками виднелось широкое и добродушное лицо газировщика, а от него, как водится, всегда начиналась улица 28 ИЮНЯ.

Вот она его, малыша, и повела от дороги железной по дороге жизни...

Первый раз автор, будучи мальчишкой, вернулся в свой город в 1956 после сталинской ссылки. По выходным родители иногда брали его в центр на прогулку и рассказывали о городе детства. Об интересных и замечательных зданиях и особняках, которых не пожалела Вторая мировая.

Левая сторона улицы 28 ИЮНЯ заставлена домами, а в глубине дворов был небольшой старинный стеклозавод. И если свернуть влево и пройти мимо него, то можно было оказаться перед кладбищем XIX века, совершенно запущенным и заросшим, с очень красивыми надгробиями из камня и кованого витого железа. Пройдя кладбище насквозь, можно было выйти на улицу ГЕРОЯ ГРИГОРИЯ, прямо к воротам засекреченного номерного завода. Кладбище было полностью уничтожено в 60-е годы под новые заводские корпуса. На месте кладбища, со стороны улицы ГЕРОЯ АРТЕМА, позднее создали мемориал погибшим воинам на полях Великой Отечественной. Странно, что один мемориал создали, а другой уничтожили, как будто они не могли существовать вместе.

(Продолжение на стр. 36)

Стеф Садовников

УЧРЕДИТЕЛИ:

Администрация Восточного управленческого округа Правительства Свердловской области (623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 96)

Учреждение культуры «Банк культурной информации» (620100, г. Екатеринбург, п/о 100, а/я 855).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Татьяна Богина

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ:
Учреждение культуры «Банк культурной информации»

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
620100, г. Екатеринбург,
п/о 100, а/я 855
сайт: www.ukbki.ru
e-mai : ukbkin@gmai .com

Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу 1 апреля 2005 года, ПИ № ФС11-0139.

На обложке: (1, 2, 3) Живопись С.Садовникова.

Номер подписан в печать 29.09.2017 г.
Отпечатан в ОАО «ИПП «Уральский рабочий».



Тираж 3500 экз.

Цена свободная.

Заказ № 942.



ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Память человеческая – удивительна...

И расположена она вовсе не в голове. Она находится в каждой клеточке человека. Бывает, прикосновение включает сознание – и пошло...

А иногда достаточно всего лишь запаха – и перед глазами проплывает целый кусок жизни.

А еще мы помним генами: и тех людей, кто жил до нас, и своими собственными. Так бывает, что мы просто ощущаем свой далекий дом, видим парк, по которому бегали босиком, чувствуем солнце, которое припекло спину и выгоревшую вихрастую макушку...

И еще мы то ли вспоминаем, то ли открываем в себе, то ли сами оказываемся в том состоянии, которое испытывали в другие времена. Можно сказать, что из своей сегодняшней реальности мы переносимся в свою прошлую реальность, которую мы чувствуем так же материально, как и стул, на котором сидим.

Да, память – это сложная и одновременно очень простая, но всегда необъяснимая функция. В ней живут наши близкие и любимые, даже если их уже нет, в ней происходят события, неподвластные времени, потому что в памяти прошлое и настоящее так перепутаны, что почти неразличимы.

А те, кому Бог дал писательский или художественный талант, способны свою память запечатлеть и поделиться ею с другими.

Сейчас вы держите в руках номер с живой памятью тех, кто или родился, или жил, или был связан с молдавской землей, ее традициями, ее историей.

Душевного вам чтения!

Главный редактор
Татьяна Богина

ВЕСИ

№ 8 (134)` 2017
сентябрь

Издается с 2002 года

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ВЫХОДИТ ДЕСЯТЬ РАЗ В ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Белкин
Армянское кладбище 4
Юрий Хоровский
Хохот чертенят 11
Менахем Вайнбойм
Сады нашей молодости 17
Ирина Вишневская
Тайна замка Ричарда 21
Андрей Ростовцев
Однажды в Приморске 28
Стэф Садовников
Город, которого нет… 36
Людмила Лукьянченко
Как начиналась война 44
Саша Сойфер
Детдом 46
Елена Данченко
Монолог бывшей узницы 49
Александра Юнко
Никто не хотел уезжать 55
Анатолий Лабунский
Рассказы 58
Инна Симхович
Рассказы 65
Борис Клетинич
Хроники моего двора 69
Олег Краснов
Рассказы 71
Михаил Поторак
Короткие рассказы 74
Николай Чернецкий
Рассказы 78

По вопросам подписки обращаться в филиалы Урал-Пресс.
Журнал «ВЕСИ» в каталоге Урал-Пресс 2017 для всех регионов России под № BH099788
Контакты филиалов Урал-Пресс на сайте http://www.ural-press.ru/
Зарубежным подписчикам обращаться в филиал Урал-Пресс в Москве:
+7(495)961-23-62 общий или Отдел Оптовых продаж.
Сотрудничество с зарубежными подписчиками:
Кудрявцева Елена +7(495)961-23-62 доб. 3777 kudr@ural-press.ru.

Журнал удостоен медалей





Российской Генеалогической Федерации «За вкладъ въ развитіе генеалогіи и прочихъ спеціальныхъ историческихъ дисциплинъ» 2-й степени

имени Н.К.Чупина

Журнал награжден почетными знаками





Российской академии естественных наук «Звезда успеха»

Союза старателей России «Заслуженный старатель России»

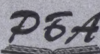
Выпуск журнала осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.



United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization



World Federation of UNESCO clubs, centers and associations

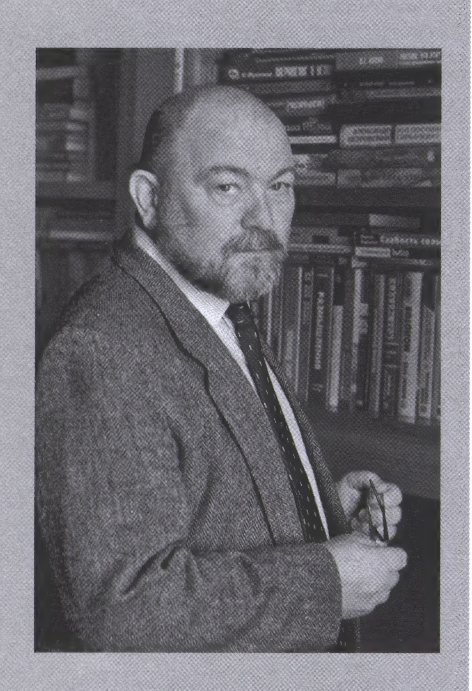


Издается под патронатом Всемирной федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО, Российской библиотечной ассоциации и Российского представительства TICCIH.

Международный Комитет по Сохранению Индустриального Наследия. Российское представительство.



АРМЯНСКОЕ КЛАДБИЩЕ



Сергей БЕЛКИН

Русский писатель, публицист, учредитель и главный редактор журналов «Развитие и экономика» и «Focus». Окончил физический факультет Кишиневского государственного университета им. В.И.Ленина, кандидат физико-математических наук. Член Союза писателей России. Автор 10 книг художественной прозы и сочинений в жанре нон-фикшн в области финансов, экономики, психологии и музыки, а также несколько десятков научных и публицистических статей. Живет в Москве.

Для начала послушайте: Боюканы, Скиносы, Скулянка, Вистерничены, Рышкановка, Отоваска, Валя Дическу, Валя Кручий, Малая Малина, Мелестиу... Это ли не песня?

Кому надо, знают, что все эти слова – названия районов нашего города, а остальные пусть просто подивятся богатству человеческой фантазии и красоте нашей речи.

А теперь – Армянское кладбище.

В сердце старожила эти слова отзовутся вовсе не так, как у приезжего, или того, кто никогда у нас не был.

Думаю, что в любом другом месте эти слова означали бы место захоронения армян. Но не таков мой чудный и странный город. На Армянском кладбище, в принципе, конечно, хоронили и армян, но вовсе не они составляли большинство, или были первыми, кто тут похоронен. Это просто центральное городское кладбище. До революции – православное, в годы советской власти – общее.

Кроме него в городе было и есть еще несколько небольших православных кладбищ, большое еврейское кладбище на Скулянке, небольшое польское кладбище.

Так почему же, все-таки, оно называется армянским? Да просто по имени улицы Армянской, берущей свое начало от главного входа на кладбище. А вот название улицы уже связано-таки с армянами: именно здесь некогда располагалось армянское подворье.

Раньше жители Армянской имели возможность, не выходя из дома, наблюдать по нескольку похоронных процессий ежедневно. А нам, жившим на соседней Болгарской, приходилось бежать на звуки оркестра, чтоб посмотреть на медленно движущуюся процессию: впереди несли венки, потом шел оркестр, потом грузовик с открытым кузовом, украшенный коврами и цветами, сразу за грузовиком, шли ближайшие родственники, друзья, потом все остальные. В кузове на коврах возлежал гроб с покойником, окруженный цветами и венками, иногда рядом с ним в скорбных позах сидели рыдающие родственники. Процессия медленно вползала в величественную арку центрального входа, после чего восстанавливалось движение трамваев, – да-да, раньше по Армянской ходили трамваи! И машин, и лошадей, – и еще раз «да-да!»: было-таки полно лошадей, впряженных в телеги, чьи колеса громыхали по булыжной мостовой. Потом зеваки расходятся, и только некоторые жители остаются сидеть на стульях и скамейках возле ворот и дверей. Не столько в ожидании следующей процессии, сколько потому, что они всегда тут сидят.

Мы за процессией не пойдем. Скажем мысленно: «Мир твоему праху, фие воая Та», – и пусть они углубляются, а, немного погодя, и мы заглянем в этот чудный уголок, но пойдем своим маршрутом.

Справа от входа за отдельным решетчатым забором мы увидим небольшое, но красивое воинское кладбище: ровные ряды одинаковых православных крестов, установленных над могилами русских солдат и офицеров, убитых в Первую мировую войну. Могилы сооружены во времена, когда наш город входил в состав Румынии, поэтому все надписи сделаны на румынском языке и выглядят, поэтому, несколько необычно: Ivan Erşov, locotenent; Piotr Sergeev,

colonel, и так далее. У входа на мраморных досках – подробное описание, начинающееся словами: «Aici odihneşte ofiţerii eroi...»

На другой стороне аллеи, в тени высоких деревьев, окруженные красивыми решетками, мирно покоятся обелиски, кресты, плиты... Недалеко от входа несколько величественных семейных часовен с витражными окнами из цветного стекла, затем аллея поворачивает к Всесвятской церкви. На углу за высокой литой чугунной решеткой покоится многочисленная семья купца Петрашевского. Могила отмечена высокой стелой из черного полированного гранита с портретом самого Петрашевского в розетке из стальных листьев. По соседству вы заметите беломраморное надгробие писателя Шевелова с надписью «Те, кого мы любим, живут...» – так называлась одна из его книг. Потом вы наверняка не пройдете мимо скромной могилки с красивым узорчатым стальным крестом и табличкой с портретом гимназиста лет четырнадцати и надписью на румынском "Leonid Neaga", потом будет могила с памятником первому президенту Академии наук Гросулу. До и после нее еще несколько заметных могильных плит и памятников, но ваше внимание уже будет приковано к необычно красивому, с высокими колоннами, надгробью Крупенской, спроектированному самим А.И.Бернардацци. Старинная семья Крупенских оставила добрый след в истории города. Перед революцией Александр Николаевич Крупенский был предводителем губернского дворянства, его старший брат – послом России в Норвегии. На кладбище есть еще один большой семейный склеп древнего боярского рода Крупенских.

Двигаясь дальше, нельзя не заметить мраморную фигуру, послужившую образцом скульптору Комову для известного памятника Пушкину. На противоположной стороне площади перед церковью обращает внимание удивительное по качеству полировки надгробие купчихи Устиновой, рядом изящная колонна над могилой княгини Дадиани...

Обходя церковь, вы минуете чью-то великолепную усыпальницу, напоминающую парижский Сакре-кёр, превращенную в склад инвентаря, затем глубокий водоразборный фонтан, далее, семейный склеп Гулак-Артемовских, тоже используемый служителями храма как хозяйственная постройка. Напротив входа в церковь – большое деревянное распятие. Распятие накрыто жестяной, раскрашенной изнутри, крышей. Там же прибиты маленькие клещи и лестница – символы пыток, страданий и Вознесения.

От церкви лучами отходит несколько аллей. Мне более других памятна та, что идет от склепа Гулак-Артемовских: «Дуракова-Гельт», «Ливиу Делеану», «Власов»... Так можно дойти до перекрестка, где похоронен скульптор Плэмэдялэ, автор памятника Штефану чел Маре. Свое надгробие с бронзовым барельефом-автопортретом скульптор сделал себе заранее. Если от могилы скульптора повернуть направо, можно дойти до могилы поэта Матеевича, чей бюст также был сделан Александром Плэмэдялэ.

Если же от могилы скульптора повернуть налево, окажешься рядом с могилой известного врача Тома Чорбэ, а если от Томы Чорбэ повернуть налево и опять пойти в сторону церкви мимо замечательного бюста корнета Фон Гольбаха, окажешься рядом с самым впечатляющим надгробьем кладбища: внутри высокой узорчатой беседки сидит, склонив голову на левую руку, величественная мраморная старуха. Это скульптурный портрет одной из Крупенских, выполненный в натуральную величину с удивительным мастерством. Старуха сидит, как живая. С фотографической точностью проработаны черты лица, морщинки, кружевной воротник, складки платья... Скульптуры такого качества вообще встречаются весьма редко, а уж в качестве надгробий и подавно.

Не хочу умалять значимость многих других покойников, но, наверное, самым известным среди них был экс-чемпион мира по борьбе, великий русский богатырь Иван Заикин. Да-да, тот самый дореволюционный кумир всей России, знакомец и герой очерков Куприна! После революции он оказался в нашем городе и умер уже после войны, в советское время.

На кладбище еще много старинных и красивых надгробий, много достойных доброй памяти жителей нашего города, и, если бы я взялся составлять путеводитель по кладбищу, я был бы не вправе их не упомянуть, но сегодня у меня другая задача.

Кладбище было одним из мест моих детских и подростковых игр, юношеских и взрослых встреч и посиделок. «А на кладбище все спокойненько, от общественности вдалеке, все культурненько, все пристойненько, и закусочка на бугорке», – правдиво написал Михаил Ножкин.

Моим проводником в этот жутковатый поначалу мир был Колян. Мы жили в одном доме, и приятельствовали, хоть он и был на два года старше. У Коли рано умерла мама. Потом отец женился на другой, и, хоть в семье не было конфликтов, Колян тяжело переживал и потерю матери, и женитьбу отца.

Колину маму похоронили здесь, на Армянском кладбище. В первое время после похорон Колян ходил на могилу ежедневно, а с ним и я. Постепенно кладбище становилось знакомым, страхи и скованность пропадали.

Мы бродили среди заросших могил, пробирались между плотно расположенных оград и с интересом читали надписи. Большая часть могил и надгробий появилась здесь еще до революции, поэтому встречалось много «старорежимных»: «Действительный статский советник Феофилакт Курогло», «Купец первой гильдии Никандр Пурчел», «Вдова маіора Горбунова Елизавета Васильевна», «Константин Урсу, инженер». Пытались разбирать полустершиеся надписи, выдолбленные на известковых стелах – наиболее древних надгробиях кладбища. Разнообразие надгробий поражало: высеченные из гранита кресты, обра-

ботанные «под дерево» – с сучками и ветками, обелиски из мрамора, габро, лабродорита, металлические ограды, навесы, чугунные и каменные плиты, гигантские мраморные кресты с чугунными терновыми венцами – чего тут только не было! Надписи, кроме русского, были на румынском, молдавском, греческом, немецком, языках. Часто у основания красивого надгробья была прямо по камню нанесена полированная надпись: «Мастерская Цулекъ. Кишиневъ». Многие могилы украшались памятниками в виде мраморных ангелов, часто сохранялись венки из оцинкованной жести, искусно имитировавшие листья и цветы.

Наибольший интерес у нас, конечно, вызывали склепы. Раньше их было много. Выглядели они поразному. Например, внутри семейного участка, окруженного металлической оградой, среди крестов и других надгробий, могла быть расположена почти горизонтальная металлическая двустворчатая дверь, слегка приподнятая над землей. Если ее открыть, внутрь вас поведут ступеньки лестницы, и вы окажетесь в более или менее просторном помещении, одна стена которого состоит из глубоких ниш. В такую нишу вдвигают гроб с покойником, а вход в нее закрывают мраморной плитой с надписью типа: «Здесь покоится прах рабы Божией девицы Аграфены Поповой, скончавшейся 17 лет от роду 11 марта 1903 года».

Разграбление могил было начато и, в основном, завершено задолго до нашего появления на свет, однако, кое-чему и мы были свидетелями. Охотники до золотых зубов и украшений еще не перевелись, и нам приходилось видеть выброшенные из склепов развороченные гробы, истлевших или мумифицировавшихся покойников и покойниц, поражаться удивительной сохранности волос и одежды...

Забираться в пустой склеп было страшно, но заманчиво. Было жутко и сладостно преодолевать первобытный страх перед таинственным миром мертвых, на память приходили страшные истории, услышанные от взрослых, но материалистическое воспитание усмиряло подсознание. Мы, в общем-то, знали, что загробного мира нет, что покойники из могил не выходят, что вурдалаков, вампиров, оборотней и прочей нечисти не существует. Но когда с миром мертвых соприкасаешься вплотную, когда страх побеждает знание, когда первобытное чувство рождает образы и ощущения, тогда пионерская уверенность в материалистическом устройстве мира несколько колеблется. Кроме того, есть реальная темнота, сырость, инфекция, могильные черви и насекомые, крышку может кто-нибудь захлопнуть, склеп может, в конце концов, начать осыпаться. Да и милиция страшила больше чертей: за осквернение могилы просто сажали в тюрьму!

Потом все склепы засыпали и забетонировали.

Сейчас кладбище обезлюдело, на нем давно почти никого не хоронят, родственники умерших сами повымирали, а вот раньше на кладбище бывали по-настоящему многолюдные, праздничные дни: вся пасхальная неделя и, особенно, родительская суббота.

К ней начинали готовиться заранее: убирали, сажали цветы, красили оградки. В родительскую субботу на кладбище отправлялись с утра и на весь день. Приносили с собой пасхальные куличи, крашеные яйца, вино. Располагались на могилах родных большими компаниями, с детьми и знакомыми, поминали, выпивали, закусывали и, главное, угощали всех прохожих.

Все пьяницы города собирались в этот день на кладбищах. Еще бы: не только не осудят, а нальют и дадут закусить со словами: «Помяни, сынок, моего сыночка. Он почти такой, как ты, был». Тут надо вести себя степенно, принять маленький граненый стаканчик с вином в правую руку, кусок пасхального кулича в левую, произнести: «Пусть земля ему будет пухом», – и, не торопясь, выпить. Потом поблагодарить и передвинуться еще на шаг, к соседней могилке, где тебя уже ждут другие, но тоже со стаканчиком, пасхой и яйцами...

Очередь в единственный туалет «на два очка» образовывалась совершенно непреодолимая!

К вечеру люди постепенно расходились, а после восьми часов ворота закрывались и сторож бадя Гриша обходил аллеи, поторапливая засидевшихся, выдворяя уснувших...

Потом он садился рядом со своей сторожкой у входа и, покуривая, ожидал наступления темноты. Жил он здесь же, в сторожке, куда холодными вечерами и нам вход не был заказан.

Приходить разрешалось и без бутылки, но приличнее, все-таки, с бутылкой вина. Тогда бадя Гриша добрел и рассказывал страшные истории про покойников, или вспоминал молодость.

Он, похоже, знал обстоятельства смерти каждого покойника, коих за двести с лишним лет накопилось очень много. С нескрываемым восхищением вспоминал времена дореволюционные, когда здесь хоронили городскую знать, купцов, священников. «Какие катафалки, какие процессии, какой красоты песнопения, какие переливы колоколов, какие милостыни, какая кутья, какое вино, какие девушки...»

В отличие от нас бадя Гриша верил в Бога. Загробная жизнь была для него явлением очевидным и не удивительным. Всякую смерть он увязывал с грехами и проступками. Если бадя Гриша хотел нас ограничить в шалостях, он прибегал к простому, но действенному педагогическому приему – запугиванию. Показав на старую, заросшую могилу, надгробье которой давно сокрылось кустом сирени, он начинал рассказывать:

– А вот вы не знаете, как этот мальчик погиб? Тоже был из хорошей семьи. Папа был акцызный, жили богато, собственный дом имели на Киевской. Старшая сестренка училась в гимназии Дадиани, а маленький Толечка еще только готовился... Мать была собой очень видная, говорили, что он ее из Италии привез. Каждое утро она с маленьким Толенькой гуляла в казенном саду. Любила она его пуще жизни, но за грехи Господь отнял у нее единственного сына, – бадя Гриша в этом месте мог даже всхлипнуть.

Мы молча ждали продолжения, прижавшись к ржавой решетке ограды.

– Это у них, у католиков запросто, – мужу изменять! – маленькие, утонувшие во многих слоях кожных складок и морщин глазки старика начинали сверкать, а голос наполнялся праведным гневом, – пошел, купил у ихнего попа отпущение грехов – и все! Опять ноги раздвигай! Весь город знал, что она крутит с сыном Шиманского. А тот бездельник только отцовские миллионы проматывал. Все они такие... Футе, футе, чинч минуте... Да-а-а...

Самый нетерпеливый из нас мог нарушить стройный ход воспоминаний и подтолкнуть мысль старика на правильную, как нам казалось, дорожку:

– А мальчик-то, как погиб, бадя Гриша?

– А ты не перебивай! – дед всегда обижался, если его перебивали, – Сейчас узнаешь. Поехали они однажды с Толиком и бонной в своем экипаже на прогулку в Долину Роз. Это она, стерва, так мужу сказала, что ребенку нужно подышать свежим воздухом, а у самой там свиданка с Шиманским... Ну, поехали. А там тогда – не как сейчас. Тогда там плантации чайной розы были. Куда ни посмотри – одни розы. А запах какой стоял... Вот они подъехали к первому пруду, вышли, расположились на лужайке, лошадей распрягли... Мальчик с бонной играет в серсо, извозчик спит, а мамаша-блудница по дорожке туда-сюда, туда-сюда... Хахаля своего ждет. И тот недолго ожидался: рессорная коляска на дутиках подкатила, и сидит он, набриолиненый. Ну, она на подножку, и – в сторону дачи Красовского. Вот так! Укатили прелюбодеи, а Толечка с бонной остался. Играл себе, играл, потом бонна задремала, а мальчик пошел к этому холму из опилок... Ну, в котором летом хранят глыбы льда. Ломовики-то еще утром лед развезли, поэтому там никого и не было. Толечка полез на холм: ему-то любопытно залезть на самый верх, а опилки стали осыпаться, потом и глыба соскользнула. Так его и задавило насмерть! Как был в матросском костюмчике, так красивенький такой в гробике и лежал.

– А что же бонна?

– А что бонна? Проспала она. Ее под суд потом отдали. А надо бы не ее, а гулящую мать! Она, правда, потом, говорят, в монастырь ушла, грехи замаливать. А на похоронах, помню, так убивалась, не приведи Господь! В могилу кидалась...

– Как это?

– Ну, когда гробик опускать стали, она как сиганет вниз. «Заройте меня вместе с ним!» – кричит.

– И что?

– Что, что?

– Ну, как ее оттуда вынули?

– Да так и вынули... Не зарывать же при всем народе. А хорошо бы...

У огромного мраморного куба, на котором, облокотясь на мраморный крест скорбел белокрылый ангел, бадя Гриша останавливался и всякий раз вслух читал краткую надпись: «Жена мужу».

– Вот ничего не скажу: любила она его – дай-то Бог. Поставила памятник, и через полгода сама померла. Тут же и похоронена. А вот на мою-то могилку прийти будет некому. Зароют, и все...

Детские души искренне отзывались на такой поворот темы, и мы дружно начинали его убеждать:

– Мы придем, дядя Гриша! Обязательно придем. И цветы приносить будем...

– Точно? Не обманете?

– Да нет!

– Ну, ладно, – улыбался старик, – тогда я еще поживу. Можно?

На одной из аллей слева и справа, напротив друг друга обращали на себя две одинаковых оградки и два одинаковых памятника. В одной был похоронен некто Василий Бантыш, в другой – Петр Степаненко. Обоим было по 17 лет, и даты смерти их совпадали. Про них дед Гриша без ругани говорить не мог:

– Это ж эти... Нигилисты, мать их... Лучше бы их тут и не хоронили. С ними надо бы как с самоубийцами – там, за стрельбищем зарыть и все.

– А что они сделали?

– Они, ребята, в жизни разочаровались, прости Господи! Оба из купеческих семей, но книжек начитались – и все! Дури одной только и набрались. Оставили записку: «Жизнь бессмысленна! Ваш мир мы презираем!» – и пиф-паф друг в друга. Поэтому церковь и разрешила их тут похоронить. Вроде как не самоубийцы, а убийцы. А я бы их туда – за стрельбище. Но матери несчастные, правда сказать, до сих пор ходят, оградки покрашены, цветы свежие.

Казалось, не было ни одной могилы, о которой деда Гриша не мог рассказать чего-нибудь необычного:

– А вот эту дамочку, между прочим, муж-офицер застрелил.

– А за что?

– А за то, что она с кобелем путалась. Приходит он домой, а она с овчаркой делом занимается. Он прямо в дверях пистолет достал и – ба-бах! Обоих убил. И ее, и собаку.

– А как это она с кобелем путалась?

– Хе-хе... Мал еще такие вопросы задавать! Вот сюда лучше посмотри. Тоже дело было интересное. Гляди-ка. Это все несчастные вдовы, а это ихний муж-убийца. Костаке его звали.

За высокой вычурной оградой на большой площадке расположилось несколько разных надгробий. Ограда уже проржавела, земля заросла травой и мелкими кустами. Было ясно, что за могилами никто давно не ухаживает.

– Он, значит, под той плитой чугунной лежит, а эти все – его жены. Первой была вон та, под черным обелиском. А рядом с ней – могила ее первого мужа, купца и заводчика. От него весь этот участок начался. Когда она овдовела, злодей и посватался. Сам он был какой-то чиновник в городской управе. Человечек неказистый и бедный, но с дальним прицелом в голове. Она его, стало быть, приняла, и поселился он в богатом доме, доставшемся вдове от покойного мужа – вон того, который в углу. Дом этот вы должны знать: на Садовой, где теперь общество дружбы с иностранцами. Не про-

шло и года, как она померла. Ничем не болела, а умерла от внезапного разрыва сердца. Ну, молодой вдовец вскоре женился на другой. Тоже вдове – из Бельц. Ее муж – сахарозаводчик – погиб в Констанце: упал с лошади и убился насмерть. Вдова сахарозаводчика переехала к Костаке на Садовую, но тоже через год без малого окочурилась. Вот это она похоронена – под ангелом. Так что, на семейном участке своей первой жены Костаке устроил целую братскую могилу из своих других жен. После сахарозаводчика была вот эта, где Евангелие раскрытое. Она тоже была богатой вдовой и тоже умерла от сердца, оставив своему мужу еще одно наследство. Потом он снова женился, но тут Господь сжалился над будущими жертвами. Эту-то Костаке, правда, успел укокошить, но и его черед настал.

– Так он их что, убивал?

– Еще как! Парень он был хитрый, вдовушек выбирал без детей и родственников, чтоб наследство всегда ему доставалось. А вот на последнем разе просчитался. Потому что у нея брат объявился. То он считался без вести пропавшим, а тут вернулся из Америки. Сам тоже богатый. Там в Америке и разбогател. Так вот, когда сестра таким же Макаром, как и предыдущие, от сердечного разрыва сковырнулась, брат возьми и появись из Америки. Наш Костаке загрустил, но делать нечего, наследством пришлось делиться. А этот из Америки, видать, в смерть сестры от сердца не поверил. А когда узнал, что она уже четвертая за последние пять лет, решил дознаться правды. И дознался-таки! Слуг расспрашивал, соседей, следователя нанимал... А пойдемте-ка, ребятки, в сторожку, что-то холодно уже.

– А что же его раньше в тюрьму не посадили?

– Кого?

– Ну, этого, Костаке?

– Ах, этого-то. Дак он же хитрый был. Он их так убивал, что никаких следов.

– Ядами отравливал?

– Хм... Да нет, не ядами... Про яды я вам потом расскажу. Это вон там, под стеной воинского кладбища есть одна интересная история... А Костаке, значит, когда его американский брат к стенке прижал, все сам рассказал. С первой женой у него вышло все вроде как случайно. В ее богатом доме на Садовой была собственная ванна. Такое тогда еще мало у кого было. Ну вот, однажды, когда она легла в ванну, он, как молодой муж, зашел к ней. Стали они играть друг с другом, тут он ее как бы в шутку, за ноги потянул, да так, что она прямо с головой под воду ускользнула. Ну, ускользнула и ускользнула, а он глядит, – она не выныривает. Испугался, вытащил ее, а она уже мертвая. Что делать? Ведь в тюрьму упрячут, и – прощай Садовая в день цветения липы! Он ее, значит, переодел, в кровать уложил и вызвал врача: мол, не знаю что случилось, любимая жена с утра не встает и кофе не просит. Врач пришел, осмотрел ее и говорит, дескать, так бывает, что человек во сне от сердечного разрыва умирает. Справки написал, денежки получил – и вперед ногами, дорогая супружница, прямо к покойному мужу. Второй раз он уже женился с прицелом. Подбирал вдовушку с умом. Пожил с годик, и, – пожалуйте купаться! За ножки ее – дерг! Она спиной по ванне, головой под воду – и все. Затихла. Курить бросила, сидр недопитым остался... Костаке разбогател несказанно. Ванна у него стала заместо пистолета. Если б не этот из Америки, продолжал бы он вдовушек купать еще долго.

– А что же, когда его брат разоблачил, его в тюрьму не посадили?

– А он его сам прибил. До правды дознался и говорит: «Поехали теперь со мной». Взял коляску, сам сел вместо кучера и повез его в сторону Старой почты. Там по дороге агромаднейший карьер имеется. Подошли они к самому краю. «Прыгай вниз», – говорит американец. Костаке сначала не хотел, уговаривал, деньги предлагал, но парень, видать в Америке не порошки в аптеке смешивал. Он ему к-а-а-к даст – и все. Подошвы так и не нашли. Брат, значит, уехал в Америку, Костаке, как погибшего случайно похоронили с женами, а в их доме на Садовой долго никто не хотел селиться: шутка ли – пять трупов за пять лет! Вот теперь общество любви и дружбы с иностранцами завели.

– Дед, а ты-то откуда про это знаешь? Ведь ни суда, ни следствия, никаких свидетелей нет?

– А работа у меня такая. Я тут про всех все знаю. Заходите-ка ребята, погреемся.

Мы забились в тесную сторожку. Дед Гриша включил электрический чайник.

– Сейчас вот чайку попьем. А ну-ка, Колян, давай, сбегай. Вот тебе пустая бутылка, а вот денежки... Ой. Погоди-ка. Тут только пятьдесят пять копеек. Это сколько же не хватает?

– Если на «Вин де масэ», то надо еще пятнадцать копеек. Тогда с бутылкой будет ровно восемьдесят семь.

– А ну, у кого пятнадцать копеек есть?

В складчину мы насобирали только одиннадцать.

– Ничего, хватит. Скажи Захару, что я потом отдам. Скажи, что для меня.

Колян побежал, а бадя Гриша выложил на стол бумажный кулек с подсохшими пряниками и тарелку с брынзой.

– Ты старую заварку слей сюда в стакан, а в чайник добавим немножко свеженькой. Гулять, так гулять!

Я выполнил все указания и под внимательным взглядом деда подсыпал немного чая из пакетика в заварной чайник, заполненный до половины старыми, разбухшими листьями, которые заваривали, наверное, раз десять.

– Дядя Гриша, а все-таки, откуда вы все знаете? Про этого Костаке? Как он их убивал, и все такое?

– Эх, пионер-пионер... «Хочу все знать...»

Тут закипел чайник, и дед, обмотав тряпкой руку, ухватился за проволочную ручку и стал заливать заварку.

– Ладно, скажу. Этот брат американский перед отъездом зашел на кладбище. А было уже поздно, я его и пускать поначалу не хотел. А потом разговорились... Он меня американской водкой угостил –

хуже бурякового самогона! Посидели мы, значит, он мне все и рассказал. Вот так, пионер! «Будь готов!» – «Всегда готов!» – «За мир во всем мире и существование систем!» Понял?

Вернулся Колян. Привычным движением дядя Гриша прижал сургучное горлышко бутылки к полу, повертел, чтоб сургуч отвалился, обтер горлышко рукой и поставил «фугас» на стол.

– Дядя Гриша, можно я открою?

– Ну, давай, открывай... Кружок «Умелые руки»...

Я старательно ввинтил штопор, затем поставил бутылку на пол, зажал ее ногами и медленно потянул пробку. Я уже знал, что тянуть надо медленно, что ввинчивать надо под углом, поэтому в успехе был почти уверен. Пробка беззвучно вышла, дядя Гриша сказал: «Молодец. Теперь наливай». Я наполнил маленькие грязноватые граненые стаканчики. Засохшее на дне вчерашнее вино выглядело как фиолетовые чернила, но я знал, что оно быстро и благополучно растворится в вине новом.

– Ну, фиць сэнэтошь, – сказал дядя Гриша, и мы чокнулись.

Выпив, все закусили брынзой, отламывая по кусочку от большого куска, лежавшего в тарелке. Потом дядя Гриша сказал:

– Вы тут пока посидите, а я схожу, кой-где лампадки проверю. А то темнеет уже.

Когда он вернулся, было совсем темно.

– Бадя Гриша, а тебе не страшно в темноте по кладбищу ходить? – спросил я.

– Так вы же тут, рядом. Чего мне с такими богатырями бояться?

– Нет, серьезно? Все-таки страшно, а?

– Да как сказать... Живых надо бояться, а не мертвых. Были, конечно, времена, когда тут ночью такое творилось... По склепам бандиты прятались. Вот тогда и правда страшно было. А теперь чего бояться?

– Ну а мертвые из могил разве не выходят? Или пусть не мертвые, а черти там, бесы всякие... – подключился Колян.

– К кому Господь попустит, к тому диавол и домой придет. Он всегда рядом. Ты только войди в искушение, в злобу, да хоть бы и в простую обиду. Он тут как тут, и ты его не узнаешь. Не заметишь, как под тебя местечко на адовых кострах готовят, Господи прости. А насчет того, чтоб мертвые из могил вставали... Я вот тут, почитай, всю жизнь, а мне годков много, и ни разу не видел, чтоб мертвые из могил вставали.

– Так что, можно значит и ночью по кладбищу пройти?

–Можно-то можно, да только зачем это тебе, Никушор?

– Для воспитания мужества, – ответил Колян.

– Да не пройдешь ты, кончай базарить, – вступил я.

– А вот и пройду! Спорим?

– Да чё с тобой спорить?

– А ну, пацаны! Кончили шуметь! Тут один уже спорил – на том конце его могила. Завтра покажу, а сегодня поздно уже, вам по домам пора.

– Дядя Гриша, расскажи. Еще совсем не поздно.

– Про что рассказать?

– Ну про того, у которого на том конце могила, который спорил...

– Тихо тогда... Ладно... Расскажу...

Дедя Гриша долил вина в наполовину пустой стакан, выпил, закусил серым хлебом с кусочком брынзы, вытряхнул из мятой пачки «Нистру» сплющившуюся сигарету, размял ее, закурил, и, только после двух затяжек, начал:

– Лет десять, а может и побольше уже, появился здесь такой парень вертлявый... Федор его звали. Он воевал, на фронте потерял одну руку, но работал у нас в мастерских, плотником. Сам он с Украины, но вот после войны здесь остался. Погулять и выпить не дурак, и очень уж любил хвастаться. Про войну как начнет трепаться – и не подходи! Разве что Гитлера в плен брать не пришлось, а все остальное – он! Полный герой и нет ему равных. А уж как выпьет – беда: «Я семьдесят семь раз ходил в штыковую атаку, я Одессу освобождал, я вражеский самолет из берданки подбил...» А ведь не он один воевал. Там, в погребке у Самсона на Болгарской, где мужики каждый вечер собирались, – много было и раненых, и героев... С обеих сторон причем. Только те, кто в румынской армии, то есть за Гитлера воевали, те, конечно, помалкивали. Ну, вот, сидим так компанией, выпиваем, фронтовики про войну вспоминают, Федор, как обычно, впереди всех похваляется. Начал трепать про то, как он ночью в одиночку ходил за линию фронта языков брать. Тут кто-то из мужиков и говорит: «На фронте, – грит, – все мы храбрые. А ты сейчас вот можешь, например, через кладбище пройти?» Федор ржать начал – я тя умоляю! «Ну, – грит, – нашел мне задание! Да я не то что на кладбище... Да я этих кладбищ видел-перевидел! Да хоть сейчас!» Ну, у мужиков по пьянке дури в башке много – начали кричать, заводить друг друга. А один такой был Степан, – самый клятый, – поспорил-таки с Федором. Решили, значит, так. Пусть он прямо сейчас, – а время было позднее, около двенадцати, – пройдет через все кладбище и обратно. А кладбище тогда было раза в два больше: там, где кинотеатр построили, и где больница – все это было кладбище. Федору, стало быть, надо пройти до самого конца и вернуться обратно. Если он пройдет, Степан будет платить за него целую неделю, сколько бы тот не выпил. Вот так! Ну, ладонь в ладонь вложили, Самсон разбил. А чтоб было без обмана, Самсон же и дал Федору свою финку с цветной наборной рукоятью: как дойдет до могилы немецких летчиков, воткнет в холм финку. Потом пусть возвращается. Если мы утром финку там найдем, значит дошел Федор до конца.

Дядя Гриша аккуратно загасил крошечный окурок, чудом удерживаемый пальцами, положил в стеклянную банку, где лежало уже множество его собратьев, чья участь – быть употребленными в самокрутках, налил себе еще немного вина, отхлебнул и продолжил.

– Ну, на дорогу опять выпили. Федор, конечно, продолжал насмехаться. Мы, правду сказать, уже подумали, что Степан промахнулся: задание и вправду пустяковое. Хотя времена были ли-

хие. Можно было на кладбище на таких бандюков нарваться, что костей не соберешь. Но уж, раз сговорились, отступать некуда. Даже Степан стал сам себя подбадривать – все равно, мол, деньги вместе пропьем. Что так, что эдак, а своим мужикам поставить – дело благородное. Короче, пошли мы все вместе до ворот, на ступеньках магазина попрощались и сели его ждать. Выпивка у нас еще и с собой была, так что он даже говорил: «Вы мне там глоточек на разогрев оставьте!» А дело было в ноябре, холодать уже стало. Короче, пошел он в своей фронтовой шинели с пустым рукавом, а мы остались тут вот, на крыльце. Погода была мокрая – мелкий дождь, даже, кажется, со снегом. Мы костерок разожгли, решили дождаться уж его. Ну, сколько, думаем, ему идти – ну два часа! Никак не больше. Даже если с пути сбиться. А там ведь темно, лампад и тех было мало. Да дождь и слякоть. Короче, мы сидим, а он там идет. Прислушиваемся – тихо. Ветер воет, деревья шумят... А так – ни криков, ни выстрелов. Как он там шагал, кто теперь знает? Наверное, было и ему жутковато. То тени шевелятся от лампадок, то лист мокрый в лицо попадет. Да и в склеп открытый можно угодить. Так вот мы сидим и прикидываем: вот уж дошел, наверное, вот уж пол пути обратно прошел, вот сейчас появится... А его все нет и нет. Дождь кончился, тишина настала. Мы к воротам подошли, высматриваем, – нет никого, мы покрикивать стали, – не откликается. Ждали, ждали, да и пошли за ним. Шли, окликали, в склепы спичками светили... Так до немецких летчиков и дошли. Вот тут-то мы нашего Федюху и увидали: лежит лицом в землю. Вот так-то, ребята! А ведь он, и правда, героем на войне был, а тут вот так.

Допив вино, бадя Гриша достал новую сигарету, закурил, закашлялся, потом, покряхтывая «о-хо-хо», поднялся с лавки:

– Ну, что, пора по домам, пацаны... Да и мне давно пора в снах сторожить, наверняка кого-то уже проворонил...

– Бадя Гриша...

– А?

– Так чего же с ним случилось-то?

– С кем?

– Ну с этим, Федором?

– А ты что же, так и не понял?

– Не-а.

– И ты? – спросил он меня.

– Не-е, я тоже не понял.

– Да-а-а, пионеры... Не поняли, значит... Придется растолковать. А то вы коммунизм не построите. Значит так. Как дело было никто не видел, а только, по нашему мнению, дело было так. Дошел наш Федюха до условной могилы, достал финку и, как договорились, воткнул ее в могильный холм. Повернулся назад, а за шинель его кто-то держит! Вот тут, видать, весь страх его и захватил! Пока шел – боялся, страх внутри копился, а тут – все! Видать ему и привиделось, как его из могилы костлявая за полу шинели ухватила и не пускает. Организм, видать, от ужаса онемел, сердце и разорвалось. С войны живой, хоть и без руки, пришел, а тут – хлоп, и нет человека. Такая вот глупая смерть. Так что, пацаны, не спорьте понапрасну и не бахвальтесь. Ну, все на сегодня. Марш по домам.

Мы засобирались, вышли на порог сторожки, и я спросил Коляна: «А я так и не понял, с чего он так испугался? Ты понял?» «Ну чё, понятно... От разрыва сердца...» «Я не про то: кто его из могилы за шинель держал?»

– Про что вы там, пионеры, шепчетесь? – раздался голос деда.

– Ну, мы это... Кто же его за шинель держал?

– А-а-а... Все! Ясно! Коммунизма не будет... Хоть вы и «навсегда готовы». Последнее объяснение для двоечников из кружка «умелые руки». Когда мы Федю нашли, у него угол шинели был Самсоновой финкой пробит и к земле приколот. Он, значить, как до могилы дошел, нож воткнул, а при этом не заметил, как собственную шинель к могиле пришил. Обернулся назад идти, а шинель кто-то держит! Вот и испугался. Вот чего бывает, братцы, в жизни. А в смерти, дети, ничего не бывает, – только смерть, прости Господи... Все, пацаны, пока, ноаптя бунэ, сомн ушор.



Серия «Библиотека прозы Каменного пояса»
А.П.Мищенко «Жизнь», Роман-словарь
или Субъективный словарь.

Из предисловия: «...Словарь мой личностный, писательский, и немудрено, что много в нем относящегося чисто к литературе: тут сюжет, форма и идея, глагол, слог, идеал и прочее. Рождался он из своего «круга чтения», собственно «круга жизни». А жил я всегда «во все стороны». Интересовался всем, любопытничал, увлекался. «Зря ты, старик, разбрасываешься!» – говорили мне. Но меня вела натура, интуиция, охота, если хотите. Любознательный всегда немного охотник.

...В словаре я попытался дать свое собственное видение жизни, человека и мира. За понятием фарватерно тянется содержание, жизнь, состоящая из мимолетин – лепестки бытия, они что снежинки, которые, навеваясь с неба, устилают землю и становятся жизнью, когда в одночасье ты открываешь вдруг, что мимолетины, выражаются ли они в мыслях, поступках, событиях, всплесках чувств ли, выстаиваются в цепь хорошо организованных случайностей, и ты пожинаешь судьбу.

...Слово – вспышка света во тьме мироздания, молнийно оно может осветить жизненные пространства. Что словарь! Каждое слово – микророман».

Александр Мищенко.

ХОХОТ ЧЕРТЕНЯТ

Юрий ХОРОВСКИЙ

Родился в южном молдавском городке Чадыр-Лунга. Окончил Республиканское художественное училище им. И.Репина, в студии скульптора Лазаря Дубиновского. С 1989 года живет и работает в Москве. Член Союза художников СССР. Работы Хоровского находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, частных коллекциях в России и за границей.

* * *

В нашем пыльном степном городке Чадыр живут такие же разнообразные и, вместе с тем, похожие на всех других люди, как в Кишиневе, Москве или, скажем, как в соседнем селе Бешгиоз (Пять Глаз). Как в Африке или на Огненной Земле. Едят, спят, размножаются. Любят или лупят своих жен, или утаивают от них деньги, лепешки или бананы. Дети, как везде, пищат, орут, дерутся. Женщины, когда совместно ткут, лущат кукурузу или раскрашивают лица, ногти или голую грудь, – моют кости своих мужчин. Короче говоря, у нас, как везде, происходит всякое – измены, убийства, воровство... а когда и геройство, жертвенность и любовь.

Как и везде на земле, находится место и у наших людей для колдовства, чародейства и всяческой чертовщины.

Но не в наше же время, скажете вы.

Кто из нас, современных – «цивилизованных» – людей, еще верит в потусторонний мир, сатану, диавола, черта, ведьму, русалку... Разве что наши интеллектуалы в своей речи или писаниях для художественной образности используют эти слова. Да глубокие старики и старухи поминают черта-дьявола по застарелой привычке или для острастки внуков. Чем еще попугаешь их, этих юных всезнаек, не имеющих страха даже перед кошмарами нынешних голливудских фильмов. А скажешь: ночью черт придет и унесет тебя под землю,– а вдруг испугаются незнакомой пугалки.

Короче, нынешним и черт не страшен.

* * *

Это нынешним, а сорок лет назад, когда я и мои друзья-ровесники еще только в школу недавно пошли, и про телевизор, пылесос и холодильник еще не слышали, а компьютеров еще не было на свете, а были где-то, в каких-то нездешних институтах большие шкафы ЭВМ, чертей боялись, особенно, девчонки. Крикнешь: «ЧЕРТ!», показывая в темный угол сада или за поленицу дров, и они визжат, как резаные.

У бабушки Абрамовны две внучки, которые жили при ней, и один сводный их брат, чуть постарше, присылаемый из столицы на все лето на откорм, – были напуганы ею всякой чертовщиной, подземным обиталищем чертей, ведьм и, для пущего страха, Шайтаном (гагаузский черт). Шайтан был у них с большой буквы как имя собственное, и его они сильно боялись. Но зачем это нужно было бабушке Абрамовне? А чтобы сделать их более послушными.

Ее сын, Ефим Семенович Тойфельман, член партии и многолетний главный инженер Механзавода, единственного в те годы крупного предприятия нашего райцентра Чадыр, не мог позволить, чтобы его мать, жена или даже домработница Мария, носили воду из общественного колодца на перекрестке. Или из колонки возле бани, где вода пахла тухлыми яйцами и называлась «буркутной». Эту «буркутную» воду надо было еще сутки отстаивать в ведрах, чтобы не воняла. Он нанял копателей рыть колодец у себя во дворе и место выбрал сам, недалеко от летней кухни, чтобы далеко не таскать ведра. Бригадир копателей, дядька Чакир, постоял на этом месте, прислушиваясь

и принюхиваясь, походил вокруг, покачал головой и сказал Ефим Семенычу, что место это нехорошее, вода, может и есть, но копать здесь не стоит. У него сильно зудится в носу и еще в одном месте, куда можно достать из кармана штанов, и вообще, какое-то нехорошее чувство, как на кладбище возле свежевырытой могилы.

Ефим Семеныч посмеялся.

– Что ты мне тут про какую-то могилу, Чакир! Я тебя колодец нанял вырыть, а не могилу. Чешется в носу? Так бы сразу и сказал. Пошли в дом.

Его жена выставила на стол котелок кавармы и большую миску салата, а Ефим Семеныч принес из погреба гараф своего, известного на всю улицу, белого вина, и на следующий день бригада, уже без всякого сомнения начала копать. Поставили треногу с воротом, подвесили на крепком канате большое ведро на сорок литров, починили тачку – возить землю в дальний конец сада и, перекрестившись, воткнули в землю первый заступ. Дело пошло. На следующее утро прибыла первая арба с бутовым камнем. Привезли дубовые доски для укрепления стен и нижнего кольца, на котором будет расти колодезная стена и опускаться вниз. К тому времени, когда Ефим Семенычу пора было уходить с утра на работу, дядька Чакир уже вовсю командовал своими людьми. Через две недели опустились на семь метров, а воды все не было. Прошли уже пятиметровый слой глины, два метра каких-то темных отложений, потом пошел совсем черный слой не то горелого песка, не то древнего пожарища. Откуда могло взяться пожарище на такой глубине? И тут у работающих внизу начались болячки и страх: ломота костей и зубов, язвы, боль в висках и слуховые галлюцинации, «писк и хихиканье, как детишки в детском саду шумят», говорили они. «Не, хозяин, больше на глубину не полезем. Там буркутом, или, может, то серой пахнет, и пискает что-то больно уж весело. Сташно как-то...»

Ефим Семеныч поначалу эти разговоры всерьез не принимал, велел жене им к обеду ограничить вина – давать не более кружки на каждого. Но когда пять мужиков отказались со страху лезть под землю, поскандалил с Чакиром.

– Вы, сволочи, цену себе набиваете? Уговор дороже денег, но я готов пойти вам, сволочам, навстречу, и прибавлю премиальных. Только заканчивайте. В общественном колодце восемь метров, если на десятом метре вода не пойдет, ладно, так и быть, засыпаем яму.

Чакир уговорил своих спуститься под землю.

На девятом метре у самого молодого, крепкого и веселого парня Якима, случился припадок падучей и его с трудом подняли наверх. Придя в себя, он выговорил с сильной одышкой, что слышал голос, когда воткнул лопату, и она во что-то уперлась. Злобный детский голосок пропищал: «Ай, больно же! Ну ты, козел вонючий! Сегодня ты своими ногами домой не дойдешь. Зараза ты такая...» У него отнялись ноги, и его на арбе отвезли домой. Чакир заявил пришедшему на обед Ефим Семенычу, что они ни за какие деньги больше под землю не полезут, но потому как большая часть работы уже сделана, то оставляют за собой уже полученный аванс. За остальное не берут... И ушли, оставив «на пока» треногу, ворот и большое ведро с тачкой.

Больше месяца Ефим Семеныч не мог найти других людей на эту «гиблую» работу, а Яким, как говорили, долго болел ногами и немного тронулся умом. Наконец, постучались к Ефим Семенычу трое сильно помятых, подвыпивших мужичков из соседнего села Бешгиоз и заявили, что им черт не страшен и яму они докопают за двойной тариф, кормежку и каждодневное ведро вина. Ефим Семеныч посчитал, что условия ему приемлемы, раз он сэкономил на бригаде Чакира, а других все равно нет, и ударил с ними по рукам, а точнее, написали они на листке из тетрадки «договор», оговорив, что «сначала копать за кормежку и вино, а деньги по окончании работ». Жене приказал белого вина не давать, а наливать из прошлогодней бочки красного «бастардо». Два дня мужички работали, – один копал внизу, другой поднимал ведро, третий возил землю, – а к вечеру второго дня случилось несчастье. Харлампий, что стоял на вороте, давно уже чувствовал сухость во рту и в пищеводе – до самого желудка, и психовал, что Захария, который внизу, слишком старательно и медленно грузит ведро.

– Захария! Мать твою в спину! Заснул ты там что ли?! Давай быстрей! Пора кончать на сегодня.

– Пошел ты, знаешь куда? Завтра ты будешь внизу копать, дышать бзденью, а я наверху... мать твою... Еще пять лопат...

– А чтоб тебя черти взяли! Бросай до завтра!..

И потащил ведро наверх. Когда ведро поднялось почти доверху, Харлампий услышал внизу хлопок, как будто лопнуло автомобильное колесо, шум льющейся воды и крик Захарии:

– Вода! Вода пошла? Давай быстро канат!

Пока Харлампий тащил тяжелое ведро и высыпал землю в тачку, он и тачечник Петря слышали крики и ругань Захарии, а когда спускали канат, в колодце было тихо, и чуть слышно плескалась о стенки закрутившаяся высокая вода.

– Захария? Ты где, брат? Захари-яааа! – кричал вниз Харлампий, а Петря, сразу сообразивший, что Захария уже никогда не сможет ответить на этот вопрос, сел на землю, обхватил голову руками и завыл.

А Харлампий все кричал вниз и звал своего брата, но видел внизу только круг синего неба и тень своей головы.

Начальник милиции тов. капитан Танасоглу утверждал, проводя следствие, что не может вода так быстро подняться, чтобы не успеть вытащить человека наверх.

– А ну сознавайтесь, сволочи, ведро на голову уронили?

Но когда достали труп, никаких физических травм обнаружено не было, а были только признаки утопления, и пришлось написать в протоколе невероятное: «внезапное и ускоренное повышение уровня воды».

Ефим Семеныч поехал в Бешгиоз, дал деньги на похороны, рассчитался за выполненную работу – в колодце-то стояло три метра воды.

До следующего лета им не решались пользоваться, таскали воду из общественного. Он стоял закрытый тяжелой деревянной крышкой, пока не наступило жаркое время и не понадобилось много воды – поить животных, на стирку и, главное, на полив огорода. Однажды, собравшись с утра на работу, Ефим Семеныч, сам не понимая какого черта, отодвинул крышку и заглянул вниз. Метрах в семи от поверхности стояла спокойная темная вода, и тянуло снизу чистой прохладой. Он вернулся в дом за ведром, привязал к нему отрезок бельевой веревки и вытянул из колодца полное ведро. Вода в ведре была прозрачной, как в первый день творения, а на вкус как из родника, от которого пошел жить наш городок. На следующий день пришли плотники, поставили ворот, приковали на длинную цепь ведро, и колодцем стали пользоваться.

И сколько ни брали из него воды, она всегда стояла на одном уровне.

* * *

Мария, домработница, была взята в дом еще родителями Ефим Семеныча, из бедной многодетной гагаузской семьи, за небольшую денежную плату и несколько мешков муки в год. На полную кормежку, ночевку и одежку с хозяйкиного плеча. И так сроднилась Мария с семьей, что не захотела уехать из нее, когда всю ее родню увез старший брат в Казахстан, женившийся там после армии на богатой казашке.

– Не, не поеду я, тетя Абрамовна, ни в какой казак… там, – со слезой твердила она. – Утоплюся, а не поеду-ууу. – И начинала рыдать противным унылым ненатуральным голосом.

Ее со всех сторон уговаривали не ломать комедию, не выть, не рушить семью, а ехать со всей родней в замечательную республику Казахстан, где даже язык почти гагаузский, и ничего учить не надо – и так все понятно. А земли там столько для крестьянской работы, что хоть завались ею, режь себе, сколько сможешь осилить. А овец!.. А лошадей… И, главное, богатый тесть… И замуж выдадут и дадут большой калым.

Мария всегда была девушка с некоторыми странностями поведения, но их можно было не замечать – в быту они нисколько никому не мешали. А вот когда ей стали говорить про Казахстан, замужество и калым, она начинала уныло завывать и биться головой, пока не засыпала внезапно и надолго там, где нападал на нее сон. Потом ничего не помнила. И все надо было начинать сначала: и про Казахстан, и про замужество, и калым.

– Мы же тебя не гоним, Мария, – говорила тетя Абрамовна (так звала хозяйку Раису Абрамовну Мария), – Но как же, сама подумай, все твои уедут… Навсегда! А ты останешься и больше никогда не увидишь мать с отцом… и братишек… – пугала ее хозяйка.

– Не поеду ни в какой казак… та-ам. Утоплю-ся-ааа…

И где она подобрала это дурацкое «утоплюся-а?» У нас в городе и утопиться-то негде, кроме как в ведре с водой.

Это бесконечное «у попа была собака» тянулось несколько недель, пока вся ее родня не уехала. Мария тут же перестала «топиться».

Была и другая странность – почти никогда не выходила она за ворота. Редко высунется в калитку, с осторожным любопытством оглядывая улицу, а как появится из-за угла прохожий, молодой или пожилой, сразу захлопывает калитку и убегает. Нельзя было ее послать, например, в магазин или поручить сходить к соседям за чем-нибудь – убегает и прячется, глупая девчонка. Зато весь большой дом и обширные двор и сад были знакомы ей до камушка и прибраны с любовью и старанием. Она любила и радовалась хозяйскому сыночку Фимке, (дочка от первого брака хозяина жила с матерью в столице), сама мыла Фимку в корыте, пока он был маленький, а когда подрос и пошел в школу, очень удивлялась, что не дает он ей мыть свою письку, как в детстве. Сама она не стеснялась, в жару, по нескольку раз в день, особенно когда хозяйка спит в своей комнате, мыть во дворе в тазу свою большую грудь и заросшие подмышки, и подмываться на глазах у школьника Фимки. Покажи, просил ее Фимка, и она задирала свои юбки и показывала ему. Без всякого стеснения, потому что не понимала, что этого нужно стесняться. При хозяйке она этого не делала, чтобы не сердить ее, как это случилось однажды, когда она при ней задрала юбки перед десятилетним Фимкой.

Она совершенно не была идиоткой, как вам может показаться с моих слов. Вполне разумно исполняла свои обязанности по хозяйству, вменяемо могла обсудить с хозяйкой и приготовить вкусный праздничный обед или аккуратно перемыть все люстры в доме, не расколотив ни одного плафона. Стирала и утюжила дорогое хозяйское белье. Споро выполняла любое поручение хозяина дома и Раисы Абрамовны, а впоследствии, и новых ее хозяев, Ефим Семеныча и его русской жены Натальи. Лишь бы не надо было выходить со двора… К этому времени она тридцатитрехлетняя, слегка отяжелевшая женщина, но крепкая, никогда не болевшая, так прижилась к дому, что Ефим Семеныч уже не мог представить дом без нее.

И все же что-то с ней было не так.

Раиса Абрамовна мучилась тем, что после отъезда семьи в Казахстан, устройством Марии в жизни придется заняться ей, и не пора ли собрать для нее хотя бы небольшое – сиротское – приданое и выдать замуж. Не всегда же ей быть в услужении? Девице уже девятнадцать лет, а она еще целая. Но как же ее выдать замуж, когда она боится всяких разговоров об этом, убегает и прячется. А то еще и начинает отвратительно завывать. Как больная собака… Постепенно эта проблема сошла «на нет» и забылась, но возникла другая – что делать с ее деньгами. Она исправно получала от хозяев небольшую месячную плату, но не

на что было ей тратить свои деньги. Она бережно складывала их сначала в большой кошелек, подаренный хозяйкой, потом в торбочку от фасоли, а когда деньги перестали в торбочку помещаться, стала набивать ими наволочку. И тут ударила хрущевская денежная реформа, и надо было отнести деньги в сберкассу на обмен. Как только ей объяснили все про реформу, – про то, что хотя денег у нее станет в десять раз меньше, но купить она сможет ровно столько же, – набитая деньгами наволочка в тот же день исчезла и нашлась только через четыре месяца, когда было уже поздно. Ничто не могло заставить Марию, – ни уговоры, ни угрозы, – сказать, где она прячет деньги. Опять она принималась мерзко завывать и прятаться.

Деньги пропали, но она продолжала бережно их сохранять.

Когда хоронили Фимкиного папашу, – а Ефим Семеныч уже учился в институте, – ее не взяли на кладбище, зная ее боязнь улицы и людей. Она как будто не поняла, что он умер, удивлялась, что его нет, на все объяснения жены и сына покойного кивала понятливо головой, и все же к шести часам открывала тяжелую калитку и смотрела в конец улицы, не идет ли с работы хозяин. Прошло несколько недель, прежде чем она поняла, что хозяин больше не придет.

Что это, по-вашему? Больная психика? Кто она, Мария? Врожденная идиотка? Большой глупый ребенок?

Точно так же, как она любила маленького Фимку, полюбила она и двух его дочек, Маньку и Саньку, так же мыла их в корыте, заплетала косички, откармливала здоровой пищей, а когда привозили на откорм из города их сводного братца, добросердечно ухаживала и за ним.

Чертовщина началась, когда открыли новый колодец, и она стала главным пользователем его воды. У кого еще из домашних, кроме, конечно, вечно занятого хозяина, хватило бы сил крутить ручку тяжелого ворота, вытаскивать и носить ведра, наполнять корыта или большую емкость для полива огородных грядок? Стали замечать за ней, что она подолгу, вытащив ведро, смотрит в глубину колодца, как будто что-то пытается разглядеть там или услышать. Долго не придавали этому значения – давно все привыкли к ее странностям. Потом она стала разговаривать и кому-то внизу грозить кулаком.

– С кем ты там болтаешь! – Кричала на нее бабушка Абрамовна, для которой она, сорокалетняя женщина, все еще представлялась молодой незамужней девкой. – Совсем с ума сошла! Ты что не знаешь, что там черти водятся?

– Детишки там какие-то озорничают, бабушка Абрамовна. – Озабоченно говорила она, наклонив левое ухо над зевом колодца. – Во! Слышишь, что кричат? Покажи, дура, физду, а то всю воду замутим, и попадет тебе от хозяина. Во! Покажи, дура!..

– Опять, Мария? Не смей юбки задирать, внучки могут увидеть. И мальчик.

Крестьянские женщины наши нижнего женского белья раньше не носили, вместо него снизу надевали рубаху и несколько длинных по щиколотку юбок, так что, сами понимаете, если задрать юбки повыше ... что Мария и делала раньше, когда Ефим Семеныч был еще мальчиком.

– А если воду замутят, бабушка Абрамовна?

– Не смей, говорю, дура набитая. – В сердцах махала кулаками старуха.

Когда приехала в конце лета, сводная сестра Ефим Семеныча забирать своего сына в первый класс, это как раз и случилось.

При ней Мария прибежал в дом взволнованная, причитая.

– Ой, что я говорила. Госссподи! Бабушка Абрамовна! По воде муть пошла... Говорила же я! Опять кричат, покажи да покажи...

Когда через час вышли из дома, чтобы идти на автобус, увидели, что Мария сидит на краю колодца, задрав юбки до самых подмышек, и опять причитает:

– Злые ребятки, злые... ну зачем же воду мутить-то? Обещала же показать, так зачем же воду мутить?

Вышел сильный скандал, и на следующий день Марию отвезли в районную психушку, откуда она уже не вернулась.

* * *

Ефим Семеныч, пожалуй что один и переживал отсутствие Марии. Жена его, Наталья, была равнодушна к ней, и даже иногда ее раздражала пожилая глупая баба, хотя и делала она большую часть работы по дому. Бабушка Абрамовна за десятилетия совместной жизни от нее устала, а дети быстро забыли. Взяли в дом другую женщину, но за каждое лишнее телодвижение она требовала дополнительную плату, и ее работой не загружали, делали сами. К колодцу она категорически боялась подходить, впадала в панику, когда ей приходилось поднимать снизу ведро с водой, надо думать, опасалась вместе с водой поднять какое-нибудь злобное существо, – у этого колодца была дурная слава в городе.

Была она в доме совершенно чужим человеком и ровно в пять уходила домой.

Колодцем пользовались, но детей к нему не подпускали, «там черти водятся», пугала их бабушка Абрамовна. И в самом деле, с ним происходили разные странные вещи. Дворовая собака Тузик, когда ее на ночь сажали на цепь бегать вдоль натянутой проволоки, начинала рычать на колодец, лаять и наскакивать на него. Утром ее приходилось спасать из перепутавшейся цепи, скулящую и напуганную. Ефим Семеныч, уходя утром на работу, кидал в колодец арбуз, чтобы к обеду выловить его ведром – он делался холодным и сочным, и даже кажется, что становился слаще. Несколько раз случалось, что арбуз из колодца исчезал, и никто не мог сказать, куда он мог деться, никто из домашних его не брал. Абрамовна валила все на чертей.

– Арбуз сам утонуть не мог, это черти лакомились...

– Мама! Не говори глупостей при детях. Какие черти, ей-богу?.. Никаких чертей нет.

Он был коммунист и материалист, верить в чертей, а также и в

Бога, ему было не положено. Абрамовна верила и внушила страх перед ними и внучкам, и приезжему мальчику, и даже немножко невестке Наталье, хотя у той было высшее образование, и состояла она когда-то в комсомоле.

После таких разговоров в ведре с водой обнаруживались горелые щепки и кусочки древесного угля, а иногда непонятные желтые комочки, и вода пахла тухлыми яйцами. Колодцем временно не пользовались и брали воду в общественном. Через несколько дней вода сама очищалась.

Случалось и такое, что после какого-нибудь очередного утверждения Ефим Семеныча, что чертей не бывает, ночью во дворе слышался какой-то веселый писк и хохоток, собака начинала завывать и рваться с цепи, а наутро тяжелая крышка колодца оказывалась сдвинутой.

В какой-то год – девчонки уже ходили в школу – явилась их учительница посмотреть, что за колодец, в котором водятся черти. Она строго говорила бабушке Абрамовне:

– Как вам не стыдно, бабушка. Мы воспитываем детей в правильном понимании окружающего мира. Ре-али-стическом, знаете ли! А вы им рассказываете про чертей. Да еще указываете конкретное место их обитания. Естественно, дети начинают бояться этого конкретного места. Покажите мне этот колодец. Ну? И что же? Обыкновенный колодец.

Она заглядывала в него, кричала: «Ааа!..», «ууу!..», «черти, где вы там?!», потребовала достать воды из него и выпила целую кружку.

– Ну, вот видите, девочки, никаких чертей там нет. Не слушайте вашу бабушку. И не рассказывайте больше в школе, что в вашем колодце водятся черти. Гоголевщина какая-то...

Она собралась уходить, но возле самой калитки ей вдруг сделалось плохо, она страшно побледнела, и ее вырвало школьным винегретом, в котором копошился рыжий таракан. Ей принесли стул, усадили, обмахали подолами юбок. Предложили воды, но она замахала руками, и ее опять вырвало. Только через полчаса ей стало немного лучше, и она ушла, опираясь рукой о забор.

– Стыдно... А чего мне должно быть стыдно? – говорила бабушка Абрамовна, собирая на савок винегрет возле калитки. – Я же не про ваш райком говорю, что там черти водятся, а про свой колодец...

В тот год, когда в Одессе обнаружилась холера, все санитарно-эпидемиологические управления поставили на уши, чтобы они проверили все водопроводы, водоемы и колодцы. Пришел товарищ и к Ефим Семенычу, когда он был на работе. Встретила его Абрамовна.

– Будем в ваш колодец заливать раствор, – сказал бабушке Абрамовне санитар в маске, пьяный почти до невменяемости.

– Что еще за раствор? Я пью из этого колодца, и дети пьют, а ты – какой-то раствор... небось, вредный?

– Растворы полезными не бывают. – Санитар пытался разводить в ведре с водой синий порошок из большой банки, но сыпал большей частью мимо. – Но лучше вредный раствор, чем холера.

– Ты мне эту гадость не лей, никакой у меня тут холеры нету.

– Приказано...

– Сейчас ты у меня, зараза, другой приказ получишь! Из другого ведомства!

Она наклонилась над колодцем и крикнула.

– Эй, слышите меня? Тут один... эээ... товарищ... хочет вам какую-то гадость налить...

Из колодца ответили, что слышат, и тем привлекли внимание санитара. Он удивился и прислушался.

– Ты, бабка, скажи этому мудаку с горы, – услышал он злой детский голосок, – что если хотя бы капля гадости попадет сюда к нам, мы его пьяные глаза ему на задницу натянем. Или наоборот. Так и скажи...

– Есть... Понял... – ответил санитар, сдергивая маску с лица. – Так и напишем... Вибрион холеры не обнаружен... Санобработка не проводилась. А стаканчик вина нальешь, бабуся?

А когда в разгаре уже была «перестройка», регионы и республики брали суверенитета и независимости, сколько хотели, Гагаузии тоже захотелось... Все остановилось в нашем городке, в том числе и Механзавод, где Ефим Семеныч был главным инженером. Его выросшие и вышедшие замуж дочери решили ехать. Все тогда куда-то ехали: в Израиль, Германию, Австралию, Америку, – лишь бы не сидеть и дожидаться... неизвестно чего. Ефим Семеныча уговорили быстро. Он перед памятником В.И.Ленину коллективно и демонстративно сжег свой партбилет и готов уже был ехать, но категорически отказалась его мамаша бабушка Абрамовна.

Как когда-то отказалась ехать в Казахстан глупая Мария.

– Я вас не задержу, – говорила она внучкам, Мане и Сане, – оформляйтесь, а я к тому времени помру. Положите меня рядом с вашим дедушкой...

Так и случилось...

Дом сразу не смогли продать за его цену, навесили замки, наглухо забили досками окна и двери и уехали в Америку. Через три года приехали. Маня с мужем, обошли соседей, поплакали, обсудив прошлые и нынешние времена, в три дня продали дом по дешевке молодой, сбежавшей из суверенного Казахстана паре и уехали в свою Америку, не забыв посетить кладбище.

Я тоже, как множество моих знакомых, поддался стихии этого великого переселения народов и уехал жить в соседнюю северную страну. Но иногда все же наезжаю в родной городок. Посетить могилы.

В последний мой приезд мне рассказали ужасающую историю про этот дом, а точнее, про этот чертов колодец. Молодая пара с пятилетней дочкой, купившая этот заросший сорняками и диким кустарником дом и запущенный одичавший сад, стали жить и понемногу наводить порядок.

Колодец затянуло грязью и тиной, вода из него ушла. Почистить его у новых хозяев все не доходили руки, и сколько раз молодой хозяин проходил мимо, столько раз он проклинал его.

– Проклятая дыра, засыпать бы тебя к чертям собачьим, чтобы



Маняшка не свалилась, не дай бог. Но это же слишком большая работа. Сколько машин земли надо в эту прорву засыпать. Придется нанять людей, чтобы его почистить.

Но, к его удивлению, никто из местных не соглашался лезть в него.

– Не, уважаемый, в этот клятый колодец никто из наших не сунется. Найди людей со стороны.

Всю мокрую осень и слякотную зиму молодому хозяину и его жене казалось, что во дворе что-то завывает и наводит мучительную тоску, особенно ночами, и время от времени они высказывали друг другу сожаления, что вселились в этот мрачный дом. Весной, когда полезла из земли буйная зелень, засияло солнце и высушило лужи и каменные дорожки во дворе, настроение у них улучшилось.

– Ну что, Веруня, почистим колодец? Хорошо бы иметь свою воду, чтобы не носить с улицы. Я полезу вниз, а ты будешь вытаскивать ведра. А? Ты как, сможешь?

– А чего же это я не смогу? Мало я мусора перетаскала за прошлое лето?

– Ну, хорошо. Давай в воскресенье. А я завтра хорошую крепкую веревку куплю.

В воскресенье натянуло тучи, и то и дело сыпался мелкий дождик, но чистку колодца решили не откладывать, хотя настроение у них опять было не радостное, и лезть в темную дыру колодца хозяину не хотелось.

– Проклятый чертов колодец, – ругался он, привязывая веревку к балке ворота. – Смотри, Веруня, полное ведро мне на голову не урони.

– Не уроню, Витя, не бойся. Что я, дура безрукая?

Витя, стоя внизу по колено в вонючей грязи наполнял ведро, кричал: «Тащи!» Веруня крутила скрипучий ворот, вываливала ведро и снова опускала его вниз. Их пятилетняя дочка на крыльце дома причесывала куклу, и была под присмотром матери. Куча грязи рядом с колодцем росла, дело двигалось, и даже дождичек перестал сыпаться. Веруня только что вывалила ведро, но, увидела, что дочка, потянувшись за куклой, свалилась с крыльца и заплакала. Она, крикнула мужу в колодец:

– Витя! Я сейчас! Тут Маняшка плачет! – И побежала поднимать Маняшку.

Она услышала громкий хлопок, как будто лопнула автомобильная шина, и крик мужа:

– Вода! Вода пошла! Кидай скорей веревку!

– Сейчас? Сейчас, Витя! Маняшка разбила коленку... Иду, иду!

Но она завозилась с Маняшкой, а когда вернулась к колодцу, то увидела внизу высоко стоявшую, закрутившуюся водоворотом темную воду.

* * *

Рассказывал мне эту ужасающую историю бывший школьный товарищ в мой последний приезд в родной город, но, должен вам признаться, что, зная его с детства, зная его неуемное воображение и детскую веру в сверхъестественное, не поверил, что в нашем сонном городке могла случиться такая симфоническая поэма.

САДЫ НАШЕЙ МОЛОДОСТИ

Менахем ВАЙНБОЙМ

Я родился в местечке Теленешты в Молдавии. В первый класс пошел, зная идиш и молдавский. В 23 года закончил ВУЗ и стал учителем русского языка и литературы. Такова усмешка судьбы. Пишу. На удивление, читают. В 1979 году я сменил молдавские Кодры на Иудейскую землю. Могу сказать, что ни тут и ни там я не умер от голода. Томила меня только духовная жажда. Рассказы стали попыткой напиться досыта и поделиться драгоценной влагой с читателем. Надеюсь, получилось.

1

Я не хотел ехать в Эйлат, но ребята уговорили. В конце концов, не обязательно брать девицу и залезать с нею в постель.

Уже две недели мы несли патрульную службу в Сдомской долине Иудеи у странного поселения под названием Наот-а-Кикар на границе с Иорданией. Эта граница всегда была тиха и спокойна, но многочасовые рейды на джипах вдоль осевшей колючей проволоки, песок и невыносимая жара окончательно измотали нас. Зады болели. Сон был хаотичен и отрывочен. Всякие ползучие твари находили нас повсюду, а огромные отвратительные рои черных мух на сторожевых постах напоминали американские фильмы ужасов. Кондиционер работал только в маленькой столовой, и там мы спасались от жары и от мух в редкие часы отдыха, развлекаясь гастрономическими опытами, картами и мужскими байками из далекой гражданской жизни.

К вечеру жар пустыни отступал. И тогда мы с нетерпением ждали появления солдаток-ангелов, прибывавших на ночную смену локаторного слежения. Они выходили из джипа, весело здоровались с часовым у ворот и останавливались поболтать с нами. Их свежие женские лица, белые бретельки бюстгальтеров на плечах и горки грудей под гимнастерками лишали нас спокойствия. Апатия пропадала, но девушки быстро исчезали в домиках на холме, куда доступ всем смертным был категорически запрещен. Только локаторы крутились, прочесывая поймы с высохшими кустарниками на той стороне, напоминая о теоретическом женском присутствии. С восходом солнца солдатки прощались, оставляя нам надоедливых мух, жару и пограничные полосы, томящие скукой и мрачной тишиной.

Именно в такое утро, когда мы готовили машины в очередной рейс, провожая жадными взорами играющие ягодицы ночных принцесс, кто-то в шутку бросил вслух идею о посещении борделя в Эйлате. Как-то незаметно шутка обросла деталями, – и вот мы договорились с лейтенантом об отлучке на несколько часов. Под завистливое люлюканье оставшихся мы отбыли к назначенной цели на бенином такси «Мерседесе». В первом же ресторане на трассе мы остановились поесть и привести себя в порядок. Туалеты поражали белизной и чистотой. Цивилизация, оказывается, еще существовала.

Нужное место мы нашли по адресу в местной газете. Жирный небритый детина неимоверного роста у входа принялся удостоверять наши личности на инвалидном иврите. Услышав русскую речь, он успокоился и ограничился просьбой разрядить пыльные М-16. «У нас вы отстреляетесь по-другому, – осклабился он, – полигон с мишенями готов». Интеллект дрессированной обезьяны. Внутри нас ожидало подобие забытого рая: приятная прохлада в лобби, тихая музыка о любви и относительная чистота. Задницы, разбитые в бесконечных патрульных маршрутах, блаженно опустились на мягкие диваны. Запах табака и косметики устойчиво висел в комнате.

Появились дамы. После полумесячного воздержания, серой жизни лагеря и однообразия пустыни их полуобнаженные формы казались нам совершенными. Мужчина с золотой цепью на шее монотонно и несколько нагловато стал объяснять условия посещения. «Разумеется, солдатам полагается скидка. После этого де-

вушки к вашим услугам...» Услуги оказались подходящими и весьма разнообразными.

Ребята начали исчезать с полуодетыми девами по комнатам. Девушка с высоко подобранными черными волосами разглядывала меня, и я пытался понять причины нарастающего во мне беспокойства. «Вы хотите пройти со мной?» – спросила она с едва заметным знакомым акцентом моей молодости, и я пошел за ней по ступеням на второй этаж. Бабель из этого восхождения сделал бы рассказ, а Тарантино – эпизод с умным монологом и цитатами, как в фильме «Криминальное чтиво». Мы прошли по коридору в ее комнату. Она закрыла дверь, остановилась у постели и распустила узелки на плечах. Платье бесшумно спустилось на пол. Я прошелся глазами по стройным ногам к коленям, к бедрам и к нежному белому животу. Груди ее мягко подрагивали в такт дыханию. На левой аппетитно проглядывала черная родинка. Светлая незагорелая кожа лица выдавала приезжую, напоминала пышущих здоровьем селянок, которых я покинул много лет назад в городке среди зеленых Кодр.

– Вы предпочитаете что-то особенное? – девушка жеманно поигрывала плечами. Воспоминания накатывались на меня, возвращали давно забытое. Наши глаза встретились. – Вы будете только смотреть? – несколько насмешливо улыбнулась она.

– Как тебя зовут?

– Просто Мария, – юмор борделей.

– А фамилия?

– Почему каждый «русский» должен проверить мою биографию? – раздраженно спросила она и легла в постель, приподняв колени и открывая мраморную гитару ягодиц. – Может, перейдем к делу?

Догадка озарила меня. Сомнений почти не было: родинка на том же месте, акцент, возраст. Но как это возможно?

– Я знаю, кто ты, красавица.

– Откуда? Вы что, из Интерпола?

– Нет, я не из Интерпола. Я из местечка.

Мария широко распахнула глаза и инстинктивно натянула на себя простыню. Изумленно и почему-то шепотом она спросила: «Кто вы? Откуда вы меня знаете?»

Я смотрел на нее, на черные волосы, на полуоткрытые свежие губы, но перед глазами стояло лицо Тамары, когда она счастливо смеялась мне под деревьями в кишиневском парке имени Пушкина.

– Кто вы? Что вы хотите от меня? Откуда вы меня знаете?

– Я не знаю тебя, девочка. Я знаю твою маму.

2

Почему меня выбрали секретарем комсомольской организации школы – я не знаю до сих пор. Но это факт: выбрали, чистокровного еврея. Может быть, райком проморгал, или парторг. А может быть, тут сказалось более чем благосклонное внимание Натальи Сергеевны, директора школы. В любом случае, еврей-секретарь был явлением из ряда вон выходящим в бессарабском местечке. Отец сдержанно цвел от восторга.

Пошла суета: заседания, отчеты, взносы, «Комсомольский прожектор». И беседы в кабинете у директора, когда она задергивала шторы и ненароком расстегивала еще одну пуговицу на пышной сдобной груди. В работе мне помогал Костикэ, мой заместитель из параллельного класса. Он был красив, наивен, жил в интернате и полон лозунгами, как первомайская демонстрация. Изредка заходила посидеть с нами его сестра Тамара. Она говорила мало, но ее скромность была очаровательна. Поймав мой взгляд, она смущенно улыбалась и краснела. Ей было скучно в интернате с подругами из ближних сел в их неизменных черных шароварах под платьями и хихиканьем в коридорах по вечерам. Деревенская застенчивость еще крепко сидела в ней, но дикая красота уже явственно пробивалась в черных глазах, шла от хрупких плеч к тонкой талии и к красивой груди под коричневой школьной формой.

Со временем я привык к тихому присутствию Тамары и даже непроизвольно искал глазами в классах и коридорах. Мне нравились ее улыбка, свежесть и природная чистота. Костикэ хохотал: еврей и деревенская малышка? Что может быть несовместимее?

Как-то после уроков я сидел в комитете, подсчитывая убогие копейки взносов и тайком покуривая в окно. Все разошлись. Было тихо. Только уборщицы стучали ведрами в коридорах и нарушали прелесть майского ветра, приносившего с полей запахи приближающейся весны. Тамара вошла, как всегда, смущенно улыбаясь: «Костикэ еще не пришел?» Я внимательно смотрел на нее. До меня вдруг дошло, что она пришла не к брату, а ко мне. «А что, он должен быть?» Она не ответила, молча сидела за столом и что-то черкала на бумаге.

– А курить вкусно? – вдруг спросила она.

– Кому как. Хочешь попробовать?

– Хочу, но здесь не могу... – она выжидающе смотрела на меня. Я остолбенел: девочка назначала мне свидание. Сколько же времени это созревало в ее ночных бдениях? И как она перешагнула через стыд? Поднять перчатку или перевести разговор на другую тему? Она подняла глаза, и я не устоял.

– Хочешь встретиться вечером в школьном парке?

Ее благодарная улыбка покорила меня. Она утвердительно закивала головой и убежала. Я долго смотрел ей вслед и думал: зачем мне нужна эта девятиклассница? Что с ней делать? Одни заботы, да и только.

Вечером Тамара уже ждала меня. Свет редких фонарей из школьного двора почти не проникал сюда. Парк был еще гол, но неспокойное дыхание весны уже чувствовалось в оживающих кронах деревьев, в ростках травы и в блестящих глазах напротив.

– Тебя кто-то видел?

– Нет. Я сказала Костикэ, что иду на почту.

Мы говорили по-молдавски. Певучие мягкие слова в ее устах звучали итальянской мелодией. Она подобрала колени, перебирала подол платья, и я подумал, что ей холодно сидеть на голой земле.

– Хочешь сигарету?

– Да, – она неумело затянулась и закашлялась. Я повернул ее к себе и похлопал по спине.

– Зачем ты пришла?

– Я хочу быть с тобой только вдвоем.

– Нам нельзя. Отец тебя убьет.

– Я знаю, но хочу, – слезы навернулись на черные ресницы. Я обнял ее и привлек к себе. Тело ее дрожало. Нераскрытые губы неумело и робко прижались к моим. Руки обняли шею. Длинный и счастливый вздох облегчения снизошел на меня.

Мы стали встречаться. Тамаре открылся новый неведомый мир другой жизни. Она пила из него жадно и доверчиво. Ей было интересно все: и разговоры, и ласки, и тайные встречи. Удивительно чистое и наивное любопытство молодой девушки радовало меня и привлекало. На переменах она приходила на этаж старшеклассников. Они вились вокруг нее, одаривали липким вниманием, несли чушь и напоминали своим назойливым жужжанием пчелиный рой вокруг красивого цветка в поле. Подруги стайками ходили за ней, ловя каждое слово и желание. Тамара расцвела. Даже школьная форма не могла скрыть чувственного дыхания исходившей от нее манящей красоты. А она продолжала терпеливо улыбаться суете вокруг и искать меня глазами, чтобы услышать час и место предстоящей встречи.

По вечерам в виноградниках за школьным стадионом я разворачивал одежды, ласкал прохладное доверчивое тело в бледном свете луны и ловил жадные губы. «Еще немножко, – шептала она, когда я смотрел на часы, – еще чуть-чуть. Не торопись». Она неохотно вставала, оправлялась и застегивалась, а потом шла рядом, тесно прижавшись, до первой освещенной улицы. Там она украдкой целовала меня и убегала в свой интернат, стуча каблуками по асфальту ночного местечка.

3

А потом пришел июнь и выпускные экзамены. Интернат закрылся на все лето. Тамара перешла в десятый класс и уехала на лето в село к родителям. На выпускном вечере синие корочки аттестата зрелости перешли из рук Натальи Сергеевны в мои. Ее долгий поцелуй вызвал в зале несколько недоуменных взглядов, завершив и эту эпопею в моей жизни.

Осенью я уже учился в институте. Пьянящая свобода города пленила меня. Я был счастлив. Иногда я встречал Костикэ. Он передавал мне приветы. Его улыбка напоминала мне прошедший год и ласки сестры, но все это казалось сейчас провинциальным и далеким. Год пролетел быстро. После летней сессии нас запихали на какую-то стройку, но в августе мы успели откормиться пару недель дома, на родительских харчах. Осенью родная партия призвала нас на помощь колхозному крестьянству. Мы собирали яблоки в глуши Дрокиевского района. В течение всего месяца мы не обнаружили в садах ни одного трудолюбивого колхозника. Очевидно, они решили полностью доверить нам уборку урожая в уже начавших желтеть яблоневых садах.

Нашу группу поселили в сельской школе в кабинете биологии. Белый скелет в углу, жуки в банках, атласы с бабочками скрашивали наш быт. По вечерам мы наведывались к Степану Кырму и с удовольствием сидели у него во дворе под небом с яркими звездами за стаканом хорошего вина из погреба, закусывая свежим хлебом, брынзой и крупно нарезанным луком. Как-то вечером школьный сторож позвал меня к телефону: «Тебя ищут уже второй день».

– Здравствуй! – это была Тамара.

– Где ты? – и через несколько минут я уже шагал по ночным проселочным дорогам в соседнее село, где работал отряд первокурсников университета. Я шел в кромешной тьме под лай собак и вой неизвестных мне тварей, задавая себе извечный еврейский вопрос: «Зачем мне это надо?»

Я нашел Тамару на ферме у озера. Доярки еще возились с последними коровами. Подоткнутые юбки лежали меж широко расставленных ног, открывая белые, неожиданно красивые и нежные колени. Они с любопытством оглядывали незнакомца, откидывая тыльной стороной ладони пряди волос со лба и вежливо улыбались. Тамара бросилась ко мне. До боли приятно было вновь увидеть ее, красивую и счастливо смеющуюся. Она завела меня в барак под визги полураздетых сокурсниц. «Ты рад?» Шепот, возня и хихиканье в темноте не прекращались. «Пошли», – сказала она. Мы взяли одеяла и спустились к озеру. Под одеялом она обняла меня. Снова, как когда-то в парке, я услышал долгий вздох облегчения.

– Ты помнишь наши встречи? Почему ты никогда не шел до конца?

– Тебе не было даже шестнадцати! И твой отец...

– Сейчас мне почти восемнадцать. И мне все равно, что он подумает. Я так хочу...

Я ловил ее губы, нежную кожу и родинку на левой груди. Тамара часто задышала, судорожно напряглась, обняла меня и что-то шептала. Мне казалось, что она разговаривает сама с собой. Еще немножко – и вот она расслабилась, закинула руки за голову и доверчиво, как в прошлом году, отдала себя в мои руки. Уже потом она охватит мое бедро ногой, не оставив ни одного сантиметра между нами, возьмет за руку и скажет на ухо: «Я тебя ждала целый год... Ты больше никуда не уйдешь. Я хочу заснуть возле тебя».

Под утро редкие огни села исчезли. Серо-белый туман стелился над замершим озером. Мокрая трава тропинки холодила ноги. У фермы Тамара забрала одеяло, поцеловала меня прохладными губами и исчезла в бараке. Я пришел в яблоневые сады уже после завтрака. Первые трактора с прицепами, полные яблок, натужно рычали, выбираясь на дорогу. Сокурсницы пристально и с интересом разглядывали меня.

4

Кишинев начала семидесятых был гостеприимным и дружелюбным. Праздничный проспект Ленина, иллюзия брежневского изобилия, гуляющие пары и молодежь, огни из ресторанов и музыка с танцплощадок – мы часто задерживались там допоздна, а потом «ловили мотор» до мотеля, где знакомый из местечка без проблем устраивал нам номер на ночь. По утрам Тамара выскакивала в магазин и быстро возвращалась, запыхавшаяся, но свежая и чистая, как утро в саду. Мы ели вкусный

батон с сыром и молоком, и она аппетитно смеялась, когда я нудно выговаривал ей за пропущенные лекции в университете: «С тобой я познаю в сто раз больше, чем на лекциях скучных профессоров на факультете журналистики. Лучше обними меня».

Костикэ женился на дочери партийного номенклатурщика, который устроил им небольшую, но уютную квартиру в районе Рышкановки. Мы иногда заходили к нему. Он быстро посылал молоденькую жену варить мамалыгу, нарезал брынзу, поджаривал орехи и доставал плетеную бутыль вина из деревни. Мы погружались в воспоминания о городке, об одноклассниках, о школе, говорили о засилье русских и об отъезде евреев. Тамара держала ладонь на моем колене под столом, прижималась к плечу и молчала. Разговоры об отъезде евреев «на постоянное место жительства в государство Израиль» ей определенно не нравились.

Ее статьи стали появляться в республиканской прессе. Она рассказывала мне закулисные сплетни о спорах и распрях в ЦК и о министрах-хапугах, об истинной «правде» социалистической печати и доставала билеты на концерты приезжих эстрадных звезд. К родителям в деревню она почти перестала ездить. На улицах мужчины оборачивались ей вслед, и даже Костикэ раскрыл глаза от удивления: «Ну, Тамара, ты даешь! Кто мог подумать...» Робкая девочка-девятиклассница из школьного парка выпрямилась в полный рост.

А потом все-таки пришло решение уехать. Я долго не решался сказать ей об этом, но она чувствовала и знала. О предстоящем расставании мы почти не говорили. Только однажды она спросила меня: «Что тебе не хватает, чтобы остаться?» И я ответил: «У меня есть все, но не хватает главного. Я хочу своего места под солнцем». Она не спорила и не уговаривала. Последнюю ночь мы провели вместе. Ее ласки были истовы, как молитвы. Просыпаясь, я видел ее мокрые глаза над собой. «Не уезжай. Зачем тебе?» – вдруг прошептала она и прижалась ко мне еще ближе, но я промолчал. В ту ночь мы больше не говорили. Утром она приколола мне на пиджак вышитый марцишор, красно-белый цветок, символ начала весны, уходящий корнями в древнюю легенду о трагической любви.

На остановке троллейбуса Тамара молча комкала тонкими пальцами рубашку на моей груди. Она глубоко вздохнула, ласково поцеловала припухшими губами и прошептала: «Друм бун – удачного пути», круто повернулась, взметнув копну волос, и вошла в открывшиеся двери троллейбуса. Он медленно набирал скорость в сторону Академии наук, и я еще долго видел в его заднем окне ее исчезающее лицо.

5

– Сколько тебе лет?

Просто Мария ответила. Я облегченно вздохнул. Только дешевого арабского фильма мне сейчас не хватает: обнаружить в борделе собственную дочь.

– Ты дочь Тамары?

– Да, – девушка явно была не в себе.

– У тебя есть ее фотография?

– Сейчас, – она порылась в вещах и протянула небольшое фото. Тамара почти не изменилась. Прошло столько лет, но глаза ее смотрели на меня также ласково и печально, как в то утро на остановке троллейбуса на проспекте Ленина. Стало трудно дышать. Заныло сердце.

– Что она делает? Замужем?

– Работает в газете. Разведенная. Уже много лет.

Я закурил и взглянул в окно. Наступал вечер. Белые яхты бороздили синие волны залива. Маленькие фигурки людей неторопливо двигались по набережной. Мои мысли были далеко.

– Оставь мне фотографию.

– Хорошо. А когда у вас день рождения? – вдруг спросила девушка. Я ответил. – Так это вы! Мама в этот день всегда уезжает в местечко. Одна. – Что ей ответить? И я там бываю мыслями по ночам.

– Как Костикэ?

– Большой босс на телевидении.

– Что тебя принесло сюда? Мать знает?

– Сеанс психоанализа? Мне этого хватает и в Кишиневе.

– Ну, – пожал я плечами, – как хочешь.

– Мы будем что-то делать? – просто Мария запрокинула руки назад и вызывающе медленно развела колени в стороны, напоминая мне доярок на ферме много лет назад. Простыня сползла на живот, обнажая родинку на прелестной левой груди.

– Время – деньги. Мне работать надо.

6

По дороге назад ребята оживленно обменивались впечатлениями, репетируя предстоящие монологи перед сослуживцами в столовой. Серые камни пустыни пролетали за окном машины. Сухие съежившиеся ветки одиноких кустов молча ожидали живительной влаги зимних дождей.

– Что ты молчишь? – обратил на меня внимание Бени, сидевший за рулем.

– Да так, вспомнилось.

В памяти всплывал белый утренний туман над деревенским озером, доверчивые мягкие губы Тамары и ее последний взгляд на остановке троллейбуса. Время пыталось скрыть смеющиеся глаза, и я уговаривал себя в естественном движении жизни: другая девушка вышагивает сейчас по школьному двору, шаловливо кося глазами в окна первого этажа. Другой старшеклассник назначает ей свидание в школьном саду моей молодости, целует свежие губы под покровом весенней ночи и слышит протяжный вздох сбывшейся мечты.

Острое ощущение соленого поцелуя вернулось издалека, томя желанием и печалью. Я замотал головой, выпрямился, закурил и присоединился к шумным обсуждениям недавних развлечений бравых израильских солдат в Эйлате.

□

ТАЙНА ЗАМКА РИЧАРДА

Ирина ВИШНЕВСКАЯ

Журналист. Окончила Кишиневский государственный университет. Автор сборника рассказов «Красота как обещание счастья», художественно-публицистического романа «Артист одесского народа» и ироничного романчика «Последний миллион Паука». Живет в Одессе.

Подходил к концу первый год двадцатого столетия... Супруги Орловы собирались в оперу. Дмитрий Борисович, известный киевский промышленник, в ожидании супруги разглядывал себя в зеркале и заметно нервничал. В душе он считал себя неудачником и посредственностью и потому терпеть не мог банальных ситуаций. Они, считал Орлов, умаляют его мужское достоинство, выставляя напоказ невысокий рост, заметно округлившийся животик и поредевшие волосы. И вот, похоже, попал-таки, словно юноша, в донельзя банальную ситуацию – влюбился без памяти в актрису, оперную певицу!

Он встретил ее в Питере и был сражен необычайно яркой красотой молодой женщины и выразительностью ее божественного сопрано. Орлов послал букет с запиской, но знакомый, сопровождавший Дмитрия Борисовича в театр, улыбаясь, предостерег его:

– Милостивый государь, даже и надеяться не смейте: Ниночке Букиной сам князь N покровительствует!

С князем N Дмитрий Борисович несколько раз встречался в свете, слышал о его высоких связях, большом состоянии и вздорном характере. В числе его личных врагов не пожелал бы оказаться никто, и это обстоятельство несколько остудило любовный пыл Орлова. Он решил, что даже ради самой красивой женщины не стоит наживать себе столь могущественного недруга, да и удовольствие от романа может оказаться меньше, чем его неприятные последствия.

После спектакля все поехали в ресторан, и там его представили Букиной.

– А-а-а, это вы прислали букет, а ручку поцеловать так и не пришли... Наверное, князя испугались, – прошептала она, близко придвинувшись к Дмитрию Борисовичу.

Его обожгло горячее дыхание женщины, и голова закружилась от запаха герани. Запах исходил от Ниночки.

– Ха-ха-ха... – звонко рассмеялась она. – Князь, идите сюда, я познакомлю вас с господином Орловым. Вы, кажется из Киева? – обратилась она к Дмитрию Борисовичу и, не дожидаясь ответа, принялась кокетничать с князем: – Вы распугаете всех моих поклонников, милейший, кто же мне бриллианты и мануфактуру покупать станет?!

– Ах, Ниночка, душа моя, – князь галантно склонился к ее ручке, успев при этом испепелить взглядом стоявшего рядом Орлова, – вы же знаете, все ваши желания – закон для меня...

Питерский знакомый подошел к Дмитрию Борисовичу:

– Нам лучше уйти, пока Букина окончательно не вскружила вам голову. Опасная женщина! Она имеет власть над мужчинами, да-да, какую-то особенную, колдовскую власть... Даже князь иногда уступает ее прихотям, позволяя ей позабавиться новым романом, а потом, когда Ниночка наиграется, сводит счеты со своим соперником.

Они, было, направились к выходу, но дорогу им преградила улыбающаяся Нина.

– Дмитрий Борисович, куда же вы? А ведь я собралась для вас петь. Не уходите, а то общество сочтет, что вы действительно испугались князя, ха-ха-ха... – она вновь залилась смехом, нисколько не заботясь о том, что на них об-

ращают внимание. – Ну, пойдемте же, пойдемте, – Нина взяла его за руку и, словно они были давно знакомы, увлекла за собой.

Она подвела Орлова к роялю:

– Вы будете меня вдохновлять...

– Князь N уходит, – сообщил кто-то из гостей.

– Я сейчас, останьтесь, – приказала она Орлову и упорхнула прочь.

Дмитрий Борисович наблюдал, как в дверном проеме князь склонился над Ниночкой, что-то шепча ей на ухо. Она слушала его, закрыв глаза и запрокинув голову. Было в ее позе что-то очень неприличное и откровенно интимное. Орлову стало жарко, нестерпимое томление разлилось по всему его телу, рождая страстное желание немедленно овладеть этой женщиной.

Ниночка снова подсела к роялю, спела какой-то романс – Орлов не мог сосредоточиться ни на музыке, ни на словах – потом поднялась и громко произнесла:

– Господа, время позднее, завтра рано вставать, я должна с вами проститься, – и, повернувшись к Орлову, не понижая голоса, попросила: – Дмитрий Борисович, окажите любезность, проводите меня домой...

На улице накрапывал дождь, мокрая булыжная мостовая то тут, то там вспыхивала отблесками ночных фонарей.

– Красиво, – неожиданно тихо и мечтательно произнесла Нина.

...Ее дом стоял на набережной Невы. Даже сквозь запертые окна отчетливо слышался плеск невской воды.

– Это моя колыбельная, – скинув шляпку и плащ, сообщила Орлову Нина и неожиданно для него добавила: – А сегодня вы споете ее для меня...

Он вдруг испугался. Вспомнил о своем невысоком росте, заметно округлившемся животе, лысеющей голове: «Что я здесь делаю? Бежать, немедленно бежать», – приказал он себе и не смог двинуться с места. А Нина скидывала с себя одежду, как скидывают листья осенние деревья, обнажая белое гладкое без изъянов тело.

Дмитрий Борисович зачарованно смотрел на нее, думая, что если на Букину брызнуть водой, капли – все до единой! – мгновенно скатятся: им не за что зацепиться...

Когда на пол соскользнули шелковые чулки, Орлов очнулся от своих мыслей и запаниковал.

– Да вы, батюшка, как я посмотрю, ханжа... – насмешливо прошептала Ниночка и подошла к нему.

Воздух снова наполнился запахом герани, и у Дмитрия Борисовича опять закружилась голова. Он глубоко вдохнул, закрыл глаза, отыскал жадным ртом ее влажные губы и отдался воле желания.

– Так, так, – поощряла она Орлова, – ты – мой Ричард... Львиное Сердце... так, так... – стонала она.

Они встречались еще несколько раз.

– Переезжай в Киев, – как-то предложил Букиной Орлов.

– А ты построишь для меня замок?.. Князь N несколько лет собирается, да все никак собраться не может, хотя инженерные чертежи уже приобрел, да и место пригляделал – на Аптекарском острове...

«Ну вот, попался», – противно заныла в голове у Дмитрия Борисовича трусливая осмотрительность. Но это продолжалось всего мгновенье. Странное дело: рядом с Ниной Орлов чувствовал себя сильным, способным на любой поступок. Он, не отдавая себе отчета, расправил плечи, приподнял подбородок, даже ростом стал выше – и Нина поняла: Орлов готов ради нее на все.

– А я, мой Ричард, позабочусь о чертежах... – нежно промурлыкала она.

Орлов приехал в Киев утром. Пасмурные городские улицы, казалось, уже знали о его измене и осуждали за это: серые дома неприветливо смотрели мрачными, слезящимися от дождя окнами. Глухой звук падающих каштанов больно отдавался в голове. Дмитрий Борисович с отвращением подумал, что дверь ему наверняка откроет вездесущий управляющий, в любой момент тенью возникавший неизвестно откуда. Его звали Лаврентий Петрович Колюхов. Он перешел к Орлову вместе с приданым супруги – Лидии Леонидовны, но Орлов не имел над ним никакой власти – это было одним из условий, выдвинутых Дмитрию Борисовичу его чудаковатым тестем. Тот, смеясь, рассказывал Орлову, что Лаврентий Петрович не лыком шит – родом из обнищавших дворян. Как-то увидел Лидию и влюбился в нее с первого взгляда. Пришел и во всем признался, сказал, что понимает: шансов у него никаких, поэтому ни на что и не претендует, лишь хочет всегда быть рядом с этим ангелом, оберегать ее жизнь и ему все равно, кем служить при Лидии Леонидовне – лакеем или конюхом.

– А ведь он, батюшка, в то время университет оканчивал, без пяти минут инженер был... – говорил Орлову тесть.

Над Лаврентием Петровичем посмеялись да и выставили за дверь. Но студент оказался настойчивым: неделю ни днем, ни ночью с места не сходил. И тогда отец Лидии махнул рукой:

– Кто его знает, может быть, не только в книжках великая любовь бывает, – сказал он и назначил Колюхова управляющим. А когда Орлов посватался к Лидии и они поженились, Лаврентий Петрович отошел к молодым супругам вместе с домом.

Колюхов и Орлов тихо ненавидели друг друга. Дмитрия Борисовича раздражало, что его супруга всецело доверяла управляющему. Но больше всего его злило другое: он понимал, что Лаврентий Петрович действительно любит Лидию даже через пятнадцать лет ее замужества, после рождения пятерых детей, она в его глазах по-прежнему отражается прекрасным нежным созданием, а не грузной дамой с потяжелевшим подбородком и походкой, утратившей прежнее изящество.

Колюхов же, принимавший действительность без иллюзий, никогда не считал своими соперниками претендентов на руку Лидии, у него перед ними было значительное преимущество – он был единственным другом Лидии. Орлову же, ставшему ее мужем, он не мог простить того, что Дмитрий

Борисович не любил супругу и не пытался сделать ее счастливой. Их супружество было классическим браком по расчету.

Извозчик подвез Дмитрия Борисовича к дому, и не успел Орлов приблизиться к порогу, как дверь перед ним распахнулась.

– С возвращением, – сухо поприветствовал его Колюхов и взглянул на него. Дмитрия Борисовича охватила предательская слабость, испарина покрыла лоб.

«Он догадался и обо всем доложит жене, – подумал Орлов, закрывая за собой дверь кабинета. – Что же делать?» Лидия унаследовала чудаковатость своего отца, и никогда неизвестно было, чего от нее ждать. Ее мало заботило мнение света, да о ней никто и не сплетничал – она не давала для этого повода: всегда со всеми была искренне приветливой и за глаза ни о ком не судачила. Зато в глаза любому могла сказать такое, из-за чего Орлову потом долго приходилось восстанавливать отношения с теми, кто обиделся на прямолинейность его супруги.

– Дипломатичнее нужно быть, дипломатичнее, – учил он ее.

А она с презрением отвечала:

– Сделайте одолжение, не втягивайте меня в это...

Через полчаса после возвращения Дмитрия Борисовича супруги встретились в гостиной за завтраком.

– Как съездили? – поинтересовалась Лидия.

– Вполне успешно, – ответил Дмитрий Борисович.

Больше они не произнесли ни звука. Не поднимая друг на друга глаз, молча закончили завтракать и разошлись по своим делам.

Ниночка передавала с оказией для Орлова записки. Он по несколько раз читал ее короткие послания, целовал пахнущую пылью и геранью бумагу.

«Мой Ричард Львиное Сердце, я скоро к тебе приеду. Наш театр собирается на гастроли в Киев, так что мы увидимся. Ты покажешь мне город, и мы вместе выберем место для нашего замка», – писала она в своем последнем письме. Оно лежало у Орлова в нагрудном кармане. Он дотронулся до него, и бумага ответила тихим стоном-поскрипыванием. Дмитрия Борисовича бросило в жар, и сердце его заколотилось. Он выпрямился, кивнул своему отражению в зеркале. Терзавшее его волнение – через четверть часа он с супругой будет сидеть в театральной ложе, а на сцене будет петь его возлюбленная! – улетучилось прочь, и он вдруг успокоился. Наконец-то он увидит ее – все остальное уже не имело значения. Хочет Ниночка замок – он построит ей замок, пусть даже мир вокруг них катится в тартарары...

Лидия сразу все поняла.

– Это она?

Он замешкался с ответом, опасаясь, как бы не вышел при людях скандал. Но Лидия, не обращая на него внимания, всем телом подалась вперед, не спуская глаз с Букиной.

– Красивая, – с тоской признала она. – Я на вашем месте тоже в нее влюбилась бы.

После этого, сославшись на мигрень, она уехала домой. А в соседних ложах долго шушукались дамы, заметившие пристальные взгляды певицы Букиной, обращенные в сторону орловской ложи.

Спектакль вызвал восторг у киевской публики, но примадонна отказалась петь на бис, села в карету и исчезла в вечерних сумерках. Орлов поспешил за ней, забыв о том, что Киев – это не Питер, и здесь каждый неверный шаг тут же становится предметом всеобщего обсуждения.

Дверь в дом, который Орлов снял для Букиной, была приоткрыта. Дмитрий Борисович прошел в гостиную. В камине потрескивал огонь, отражаясь неровным светом на теле его возлюбленной. Она лежала прямо на ковре обнаженная, ожидая его. Вокруг были разбросаны свернутые трубочкой бумаги. Нина подобрала одну из них и как в подзорную трубу посмотрела через нее на Орлова.

– Львиное Сердце, смелее, дама устала ждать...

Он опустился на колени рядом, хотел дотронуться до нее, но Нина со смехом ускользнула:

– Подожди, поиграем в другую игру, – предложила она и стала водить пальцем по его лысеющей голове. – В нашем замке будут вот такие вот башенки...

Ее рука соскользнула на плечо Орлову.

– А это у нас флигель, – она провела пальцем по его груди и устремилась вниз. – А тут у нас турнирные поля, закрытый замковый сад, винтовые лестницы... Ричард, пообещай, что мы завтра поедем выбирать место для замка. Чертежи я привезла.

Орлов был согласен на все.

Наутро он даже не стал заезжать домой, чтобы переодеться. Они с Ниночкой отправились на экскурсию по городу.

Букина выглядывала из окошка кареты и с интересом рассматривала городские окрестности.

– Нет, мой рыцарь, это не то! Замок должен стоять на горе.

Желая угодить ей, Орлов распорядился везти их на Андреевский спуск, всю дорогу ругая себя: «А если Нине понравится Вздыхальница, что делать тогда?»

– Останови! – приказала Букина кучеру, не дожидаясь, пока Орлов подаст ей руку, вышла из кареты и, высоко подбирая юбки, стала подниматься на Вздыхальную гору («гору вздохов»). Сверху открылся прекрасный вид на Подол и Днепр.

– Красиво, – тихим мечтательным голосом произнесла Нина. Орлову тут же вспомнился Питер, ее дом на Неве, их первый вечер вместе...

– Здесь строить нельзя, это проклятое место, – отговаривал возлюбленную Дмитрий Борисович. – Здесь в полнолуние собираются ведьмы, а в подземелье, в замурованных пещерах, живет нечистая сила. Нина, умоляю тебя, здесь строить нельзя!

– Ха-ха-ха, – рассмеялась Букина, – да вы, оказывается, трус? – и тотчас спохватилась, сообразив, что может в один миг разрушить все, что так долго складывала. Придав лицу нежное и покорное выражение, она дотронулась до щеки Орлова: – Милый мой, прости! Я знаю, что неправа. Твое сердце отважное, как у короля Ричарда, – она произносила слова, которые не раз говорила дру-

гим мужчинам, и в очередной раз пыталась понять, почему грубая лесть так зачаровывает их, делает податливыми и уступчивыми. – Прости! Ведьмы, нечистая сила – все это выдумки для простолюдинов! Да и потом, согласись, я ведь тоже не ключик от церкви... Кстати, здесь и до церкви рукой подать, в случае чего батюшку пригласим, – и она достала из рукава перевязанные красной ленточкой чертежи.

– А теперь поехали ко мне, – Нина заставила его взглянуть себе в глаза. Орлов, словно во сне, отметил: зрачки ее дрогнули и расплылись черной бездной, а воздух вокруг пропитался запахом герани...

Домой он вернулся под вечер. Лидия Леонидовна, демонстрируя презрение, молча прошла мимо. Ее нос и губы были припухшими, веки покраснели. «Плакала», – равнодушно подумал Орлов и направился к себе в спальню.

У входа его ждал Лаврентий Петрович.

– Рано или поздно, но я убью тебя, так и знай, – прошипел он в лицо Дмитрию Борисовичу. Надо было одернуть Колюхова, но Орлов так устал за прошедшие сутки, что не в силах был ответить на дерзость управляющего. «Потом», – лишь сказал себе он и, не раздеваясь, улегся на кровать.

Утром Лидия пригласила его в библиотеку. Орлов судорожно перебирал в голове всевозможные варианты, якобы оправдывающие его: «Был в игорном доме, выехал за город, у кареты отвалилось колесо...»

Лидия рукой указала ему на соседнее кресло:

– Дмитрий Борисович, не ищите объяснений, – сказала она. – Женщина лишь тогда принимает их, когда хочет быть обманутой. Это не по мне, вы знаете мой характер. Но хочу напомнить, у нас с вами пятеро детей, и я не позволю обездолить их. Вы влюбились – на то воля Божья. Но не забывайте, что состояние, которое вы получили, женившись на мне, заметно поправило ваше финансовое положение, и ваш роман с этой женщиной не должен отразиться на нем – я не позволю!

Орлов невольно поежился: в голосе супруги зазвучали незнакомые нотки: «Ба-а! Так они с Колюховым спелись!» Он вдруг понял, что Лидия действительно ни перед чем не остановится, – ее голос и взгляд источали леденящий холод. Но и ему отступать уже было поздно: к обеду Дмитрия Борисовича ждала Нина, они должны были ехать к подрядчику.

Орлов клятвенно пообещал жене соблюдать приличия, но каждый из них понимал, что это невозможно и что в их совместной жизни наступил перелом. Клубок их судеб все больше запутывался, и только случай и время могли распутать его.

В этот же день Орлов получил письмо от своего питерского знакомого. Тот сообщал, что князь N скончался и при очень странных обстоятельствах. В свете поговаривали разное, ходили даже слухи, что его отравили. После смерти князя пропали его фамильные драгоценности и чертежи неоготического замка, который он собирался строить на Аптекарском острове в Петербурге. Знакомый справлялся об отношениях Орлова с Букиной и настоятельно советовал ему порвать с ней: «Все, до чего дотрагивается эта женщина обречено», – писал он в письме.

Дмитрий Борисович отложил исписанный мелким почерком лист и задумался: «Неужели смерть князя N – дело рук Ниночки?» Он гнал от себя подобные мысли, понимая, что его ужасная догадка может быть ужасной правдой. Но это, как ни странно, еще больше тешило мужское тщеславие Орлова, а близость опасности неимоверно возбуждала его.

В Киеве к бурному роману Орлова и Букиной скоро привыкли и, хоть и не выпускали их отношений из виду, говорить о них стали гораздо меньше. Лидия тоже молчала. Она чаще стала появляться на людях с детьми, и общество, конечно же, приняло ее сторону.

Вскоре Нина полностью овладела сердцем и волей Орлова и теперь хотела большего – ей нужен был официальный статус. Но она не решалась заговорить об этом, чувствуя, что к таким серьезным переменам ее Ричард пока не готов. И Букина ненасытно брала то, что можно было взять: модные французские портнихи снимали с нее мерки, она заказывала в Париже бесчисленные наряды – шляпки, зонтики, сумочки, перчатки заполонили дом. Каждой обновке она радовалась, как маленькая девочка первому выходу в свет, и Орлова тешила мысль, что все это – благодаря ему.

На Андреевском спуске невероятно быстро возводились стены замка – обыватели удивлялись замысловатым архитектурным формам готического стиля. Интереса к замку добавляли строители, рассказывающие о том, что в каждый ярус, в каждое помещение существует отдельный вход – с балкончика или с передней лестницы, или же с пристройки. А в башню вела единственная винтовая лестница, тщательно укрытая в толще стены, и непосвященный с трудом отыскал бы ее. Нина частенько сама наведывалась на стройку, требовала у строителей чертежи и долго вымеряла шагами залы, заглядывая в бумаги.

Орлов чувствовал себя вполне счастливо: Лидия Леонидовна игнорировала его, и его это устраивало; Букина всегда рада была видеть Дмитрия Борисовича, лаской и лестью внушая ему уверенность в себе. С ее легкой руки кое-кто в свете за глаза стал называть его Ричардом Львиное Сердце... Строящийся на Андреевском спуске дом тоже все чаще величали замком Ричарда. Беспокоило Дмитрия Борисовича лишь одно – на строительство дома ушло около восьмидесяти тысяч рублей, немалые средства нужны были и на содержание Нины. Денег не хватало. Но он не мог обсуждать эти вопросы с Букиной, не мог урезать ее в желаниях, понимая, что этим может подвести черту под их отношениями. Он судорожно искал выход и решил приспособить замок под доходный дом.

– Ниночка, душа моя, это необходимо и это всего на год-два. А потом замок будет принадлежать тебе, – уговаривал он возлюбленную.

Букина, слушая его, накручивала на палец прядь своих роскошных волос и улыбалась, но глаза ее с каждой минутой становились все темнее от гнева. Орлов боялся услышать от нее колкости, но Нина сдержала распиравшие ее чувства. «Мерзавец, мерзавец! – стучало у нее в голове. – Ну почему всегда одно и то же: то князь осыпал обещаниями, теперь вот этот... И когда желаемое уже почти в руках, они под разными предлогами забирают его...» В этот момент Нина лютой ненавистью ненавидела Орлова – этому ничтожеству она отдала два года жизни! А что получила взамен? Пшик! Она готова была уничтожить его раз и навсегда, так нестерпимо ей захотелось прямо в лицо сказать ему все, что она думает о нем на самом деле.

– Что ж, Ричард, я все понимаю, – ровным голосом произнесла она, с тоской думая о том, что если сейчас прогонит его, придется вновь начинать все сначала, опять искать поклонника и плести хитроумные сети, чтобы как можно дольше удержать его рядом. А за время, проведенное в Киеве, Букина привыкла к обеспеченной жизни, да к тому же Орлов, в отличие от других Ниночкиных ухажеров, был безумно в нее влюблен. «Ты делай то, что считаешь правильным, а о судьбе замка я позабочусь сама», – решила она и под предлогом, что опаздывает к модистке, поспешила на Андреевский спуск.

Строители давно привыкли, что красивая содержанка ведет себя по-хозяйски, поэтому, когда она появилась в замке, на нее никто не обратил внимания. Нина прошла в большой зал и, убедившись, что рядом никого нет, спрятала какую-то штучку в дымоход камина.

– Ну вот, теперь можешь заселять сюда постояльцев, а я посмотрю, что из этого выйдет, – сказала она.

Строителям оставалось лишь закончить флигель, поэтому Орлов, чтобы не терять время и деньги, распорядился дать объявления в городских газетах о сдаваемых в Замке Ричарда комнатах. Желающих поселиться на Андреевском спуске было достаточно. Но жильцы здесь не задерживались. Скоро по Киеву поползли слухи, что в доме № 15 живут привидения. По ночам замок при каждом порыве ветра наполнялся разноголосым воем. Постояльцы съезжали из него, повсеместно рассказывая о страшных звуках – тяжелых шагах, скрипящих половицах, душераздирающем женском смехе. Орлов был в растерянности.

– Я же говорил, что на этом месте строить нельзя, что оно проклято, – несколько раз попрекнул он Нину. Но она лишь загадочно улыбалась.

Поговорив со знающими людьми, Дмитрий Борисович решил заложить замок и на вырученные деньги взять подряд на строительство амурской железнодорожной ветки. Это предприятие обещало большие прибыли, а в деньгах он нуждался как никогда. К его решению Нина отнеслась внешне спокойно и тотчас же предложила взять ее с собой. Дома у Орлова тоже, казалось, все были рады такому повороту событий. Попрощаться с супругом спустилась даже Лидия Леонидовна, выстроив перед ним пятерых детей. «Как они выросли», – машинально отметил Орлов и удивился, что дети не вызывают в его душе никаких нежных чувств. «Странно», – признался себе Дмитрий Борисович, машинально чмокнув подставленные ему розовые щечки. Он спешил за своими мыслями, которые этот момент были уже далеко от Киева.

На несколько дней Орлов с Букиной заехали в Питер, а затем железной дорогой отправились дальше. Дмитрий Борисович волновался, приживется ли в провинции Ниночка, привыкшая к столичной жизни. Но менять что-либо было уже поздно: поезд увозил их все дальше и дальше от знакомых людей и мест. Нина, обняв себя руками, сидела напротив. Из-под шляпки выбились локоны, отчего она выглядела беззащитной и трогательной.

Орлова переполняли эмоции.

– Я люблю тебя, – прошептал он. Она устало улыбнулась в ответ и сказала:

– У нас будет ребенок...

Что-то екнуло в груди Дмитрия Борисовича. Это был страх. Орлов запаниковал, споткнулся в мыслях, запутался в ощущениях. Он торопился что-то ответить Ниночке, но она опередила его.

– Милый мой, ты обещал мне построить замок и сдержал слово. Теперь пообещай, что наш сын будет законнорожденным, – ее уверенность в том, что она носит мальчика – его наследника, растрогала его до слез. И, чтобы скрыть слабость, он лишь часто-часто закивал в знак согласия головой.

Нина облегченно выдохнула, выпрямилась, собрала под шляпку волосы и отвернулась к окну. Все, он согласился жениться на ней, остальное зависит лишь от нее. «Это все равно, что рыбку, пойманную на крючок, на берег вытянуть. Моя рыбка не сорвется, по крайней мере, пока», – подумала она. А что будет после того, как она станет законной супругой промышленника, Букину совершенно не интересовало. Перенесясь мыслями в будущее, Ниночка представила себя рядом с высоким статным красавцем, который когда-нибудь займет место Орлова.

– Душечка, о чем ты думаешь, – его голос вернул ее к действительности, и Букина, словно надела другое лицо и вновь вошла в опостылевшую ей роль возлюбленной.

Городок, в котором они поселились, был захолустным и провинциальным. Его жители, привыкшие к ленивой размеренной жизни, развлекались едой и рассказами о затертых временем впечатлениях, оставленных давними поездками в столицу. Но Ниночка была снисходительна, она готова была стерпеть все, ведь Орлов всем представлял ее своей супругой. Вот только попросить развода у Лидии Леонидовны он никак не решался. Ниночка даже пару раз закатила истерику, но Дмитрий Борисович находил то одну, то другую отговорку. И лишь когда земляное полотно под строящуюся железную дорогу протянулось на сотни миль, он отправил в Киев письмо.



Письмо Лидии Леонидовне лично в руки передал Лаврентий Петрович. Оставив Лидию в библиотеке, он притаился за дверью, ожидая, вдруг она позовет. Прошло минут десять, прежде чем до Колюхова донеслось тихое завывание и он услышал, как о пол звякнула бронзовая пепельница, посыпались с полок книги. Без стука он вошел внутрь. Лидия сидела в кресле, уставившись в одну точку, и маятником раскачивалась из стороны в сторону. Лаврентий Петрович опустился перед ней на колени:

– Что, что? – спрашивал он, но она, казалось, не слышала его.

Колюхов подобрал с пола письмо. «Лидия Леонидовна, – писал, обращаясь к супруге, Орлов. – Я прошу у вас развода, поскольку люблю другую женщину, которая скоро должна стать матерью моего ребенка. Что касается финансовой стороны вопроса, предлагаю обсудить это с моим адвокатом».

– Подлец, подлец, – повторяла Лидия. – Как с этим позором жить дальше, как будут жить мои дети?

– Не переживайте, Лидия Леонидовна, я все решу, – пообещал Колюхов. – А об этом письме пока никому не говорите. Мне теперь нужно уехать. Я вернусь через месяц. Пожалуйста, до моего возвращения ничего не предпринимайте!

Он заставил Лидию посмотреть ему в глаза, и она прочла в них то, о чем он не говорил.

– Хорошо, – согласилась она, – поезжайте и сделайте это. Я буду ждать, – и, наклонившись, впервые одарила Колюхова легким поцелуем.

Ниночка готовилась стать матерью. Она с утра до ночи шила малюсенькие распашонки и чепчики, мурлыкая под нос колыбельную. Она успокоилась, решив довериться судьбе и не торопить события. Орлов попросил супругу о разводе, поэтому все идет своим чередом, все строго по плану. Дмитрий Борисович был счастлив как никогда. Вернее, наконец-то он был счастлив. В маленьком, затерянном в сибирских просторах городке они с Ниночкой жили без прошлого, а их будущее, считал он, зависит только от него. Вечером он гладил ее живот и всякий раз шумно радовался, когда его сын давал о себе знать, толкаясь в материнской утробе.

– Наш Ричард буянит, – смеялся он.

Все было так хорошо! Назавтра он запланировал ехать к строителям. Нужно было рассчитаться с ними за работу. А еще через неделю по железнодорожной ветке пойдут поезда, и она наконец-то начнет давать долгожданную прибыль. А уж потом можно будет поехать в Киев и закончить все дела там. Так думал Дмитрий Борисович.

Утром он тихонько встал, чтобы не потревожить Ниночкин сон.

Солнечные лучи отражались в окнах домов тусклым золотом. Орлов сощурился, потянулся навстречу зарождающемуся дню и вздрогнул: на противоположной стороне улицы стоял Колюхов. «Рано или поздно, но я убью тебя, так и знай, – пронеслось в голове. А еще он успел подумать: – Как жаль умирать в такой солнечный день...»

Колюхов выстрелил несколько раз, подобрал саквояж Орлова и скрылся из виду.

Нина проснулась от шума за окном. Выглянула на улицу и, держась за подоконник, тяжело опустилась на пол. Она распласталась у стены, нервный смех сотрясал ее тело.

– Мерзавец, мерзавец, – без остановки повторяла она, – как ты смел, как ты смел, ты должен был вначале жениться на мне...

Когда Колюхов вернулся в Киев, Лидия Леонидовна уже носила траур – у плохих вестей большие крылья, долетают они очень быстро. Вдова промышленника Орлова на удивление скоро продала с аукциона Замок Ричарда и, выручив за него 114 тысяч рублей, рассчиталась с кредитным обществом. Колюхов посоветовал ей продать и акции Амурской железнодорожной ветки. Он отдал ей деньги, которые нашел в саквояже Дмитрия Борисовича, там было около 50 тысяч рублей.

– Теперь вы свободная, состоятельная молодая женщина, вольны сами распоряжаться своей судьбой. Может быть, вам стоит переехать в Италию и начать жизнь сначала, – предложил Лаврентий Петрович. – А если вы позволите мне сопровождать вас в поездке, я буду считать себя самым счастливым человеком на свете.

Лидия Леонидовна взглянула на управляющего, и в ее светлых глазах засветилась робкая надежда.

– Вы так думаете? – переспросила она.

Через два дня в поезд, отбывающий с киевского вокзала, садились высокий мужчина в скромном костюме и дама в дорогом пла-

тье и шляпке с густой вуалью. С ними было пятеро детей.

О Ниночке Букиной до Киева доходили разные слухи. Якобы она пыталась очаровать какого-то князя из сибирской глубинки, но провинциалы – народ осмотрительный и осторожный, поэтому у нее ничего не вышло. Говорили, что через какое-то время она вместе с сыном вернулась в Петербург, где снимала комнату в доходном доме, перебиваясь уроками музыки и проживая деньги, вырученные от продажи оставшихся драгоценностей и вещей. После революции ее след окончательно затерялся.

О Замке Ричарда по-прежнему рассказывали страшные истории с привидениями, он по-прежнему тревожил воображение обывателей. И вот однажды, когда страсти раскалились донельзя и разъяренная толпа готова была идти разбирать по кирпичику дом № 15 на Андреевском спуске, на улице появилась скромно одетая женщина. Ее сопровождал молодой мужчина. Они остановились у Андреевской церкви, прислушиваясь к разговорам. Их принимали за нищих и подавали милостыню. Подал пятак и Степан Тимофеевич Голубев, профессор Киевской духовной академии. Женщина сделала шаг к нему и, обдавая жарким дыханием и запахом герани, прошептала на латыни: «Измени то, что следует изменить». От неожиданности профессор впал в ступор. Его никогда не интересовали женщины, у него была другая страсть – книги. Он бесстыдно воровал понравившиеся ему томики, бывая у кого-нибудь в гостях. Для этого с внутренней стороны пиджака Степан Тимофеевич пришил огромный карман. Но эта женщина заинтересовала его: «Кем же она была в прошлом, если знает латынь?»

– Голубушка, я вас приглашаю откушать чаю с баранками. Я квартирую неподалеку, в Замке Ричарда... – без особой надежды предложил он. Но женщина неожиданно приняла приглашение.

Молодого мужчину, сопровождавшего ее, она попросила подождать на улице. Он кивнул в ответ, подобрал с земли длинную хворостину и стал отгонять от входа в замок зевак и туристов:

– Пошли вон отсюда! Это мой замок. Я – Ричард, – твердил он.

Загадочная незнакомка окинула взглядом скудное жилище Голубева, подошла к камину, погладила его:

– Как вам здесь живется? – поинтересовалась она. – Привидения не беспокоят?

– Иногда, особенно когда ветер улице, жутковато бывает, – признался профессор, – такой вой в замке стоит! Но я помолюсь, укроюсь с головой и жду, когда все это закончится. А горожане, слышали, наверное, хотят замок снести...

– Что возьмешь с черни, – пренебрежительно пробормотала гостья и, помолчав, спросила: – А вы не смотрели, может быть, в дымоходную трубу какой-нибудь балобень яичную скорлупу засунул? Я слышала о подобных фокусах, изза подобной мелочи и может такой вой подняться, что весь замок разбудит!

Не успела женщина закрыть за собой дверь, Степан Тимофеевич нагнулся, сунул руку в камин и извлек из дымохода яичную скорлупу. На ней в нескольких местах виднелись проколы, сделанные толстой иглой.

Очень скоро весть об этой находке разнеслась по Андреевскому спуску, успокоив городской люд. С того дня прошло уже более восьмидесяти лет. Но, говаривают, когда луна выкатывает на ночное ложе свое совершенное белое покатое тело, в заколоченном Замке Ричарда по-прежнему гуляют привидения.



ОДНАЖДЫ В ПРИМОРСКЕ

Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие!

А.Н.Островский «Гроза»

Андрей РОСТОВЦЕВ

Режиссер документального кино, сценарист, переводчик. Родился в Ленинграде (Санкт-Петербург). Долгое время жил в Кишиневе, был участником различных творческих объединений. Мои переводы Кавафиса, Йейтса, Стэнеску, Шекспира, Бенедетти отмечены литературной премией. Среди других профессий: журналист, организатор бизнеса, разнорабочий, фермер, ныне – учитель.

1.

Человек с фотоаппаратом брел по пустынному пляжу, держа в руках батон. На всякий случай, вдруг облепят белокрылые, а встретить нечем. Как в одесском ресторане с седовласыми скрипачами, рвущими смычками знойный воздух: «От нашего столика к вашему». Откупиться от чаек сложно, но можно. А вот от воспоминаний – как? Шляпа человека была заляпана птичьим пометом, вся в пуху чаек. Издали она напоминала большую жирную птицу, казалось – чуть сильнее ветер с моря, и поднимется шляпа вместе с другими птицами, закружит над волнами. Эта шляпа должна украшать голову мыслителя, поэта или пирата. Ну, продавца лежаков, в худшем случае. А человек был никто, как стертый ветром камень голыш. По крайней мере, к себе он относился ровно так.

Чайки при приближении человека взлетали и косились на него с высоты рубиновыми глазами. Мелкая рыбешка плескалась в их тугих брюшках, затрудняя ориентацию, и поэтому они покачивались в воздухе, как спасательные буйки. Водоросли и тельца медуз стекали с розовых лапок и падали на песок, отмечая путь человека среди барханов.

Человек был стар, то есть пребывал в том счастливом возрасте, когда подсчет лет был формальностью. Каждая морщина на его лице была строчкой, абзацем, а то и целой главой, только вряд ли найдется пытливый читатель, который захочет перелистывать пыльные тома прожитого. А сам старик давно закрыл повесть своей жизни. А если и открывал изредка, то лишь на семнадцатой странице, на том месте, где штампик казенной библиотеки расплывался, как фингал под глазом бомжа.

– Что мне искать, о чем печалиться? До этих ли простых и понятных эмоций мне, спасителю мира, хранителю земли? Скажи, Мань, почему так тяжек, так невыносим мой груз?

Рядом бежала обезьянка, в шортиках и с бантом на резинке, то перебирая по песку всеми конечностями, то опираясь на задние лапы. Глазки ее под шерстистыми веками поблескивали, светились умом, и только иногда, при порывах ветра, обезьянка прикрывала их мохнатыми лапками.

Часто она останавливалась и начинала просеивать песок. Человек с фотоаппаратом тогда подходил к обезьянке и начинал привычный разговор.

– Правильно, Манька, ищи, смотри, запоминай. Любой артефакт, черепки посуды, монеты или расческа, даже волосок на расческе, нам пригодится. Молекулярный анализ, вещь, знаешь ли, точная.

Обезьянка кивала бантом, била себя по карманам шортиков. Там звенела мелочь, трещали упаковки презервативов, смятая пластиковая карта «viza» довершала эту коллекцию. Но все это было свежим, потерянным, забытым или выброшенным по ненадобности туристами и редкими пляжниками.

– А где же настоящие доказательства? А, Мань? Тут ведь большой город был, дымил трубами заводов, тысячи домов, кинотеатры, кладбища. Загс и два райсуда. Куда, каким ветром все замело?

А могилка жены? На холме, за занавесом пыльных акаций, с видом на море...

Апокалипсис должен завораживать: ангелы трубящие, черные всадники, семь печатей. Ведь красивая идея. Смерть не разложение, не конец. Начало чего-то необычного, будто кожуру с апельсина содрали, и мякоть выдавили в новый коктейль.

А то, что произошло с Приморском, иначе как дурной драмой, пыльной хламидой, и не назовешь. В одну секунду (да и кто замерял?) большой советский город, Жемчужина Степи, как называли его в докладах советские вожди, исчез. То есть, как исчез? На любых картах, от туристских до штабных миллиметровок, Приморск по-прежнему был обозначен типографским знаком, пятном, напоминающим то ли греческую амфору, то ли вазон. Туда продавались билеты на поезда, стартовали из Домодедово самолеты, в программе «Время» иногда давались сюжеты. Но города как гнезда для людских тел, стремлений и страстей не было. И вот уже двадцать лет после катастрофы никто никаких доказательств исчезновения Приморска не представил. Да и кому они нужны?

Наконец старик и обезьянка подошли к холму, который зеленым островком возвышался над кочками барханов.

– Мань, вроде похоже. Может быть, здесь ее могилка. Смотри, вон и земля осела!

Старик легко взбежал на вершину холма и снял шляпу. Земля под ним раздалась, и старик по грудь провалился в яму. Его ноги в сандалиях осторожно пошкрябали по дну ямы, но ничего похожего на гроб или иной ритуальный предмет там не было. Яма была пуста.

– Манька, нашли, нашли! Ее могилка. Она и должна быть пустой! Клавдию взял к себе Белый Кит, Отец и Матерь, чадо небес, Хозяин океана. А подзахоронить сюда никого кладбищенские не успели. Ну, наша задача усложняется! Значит, был Приморск, был Андрей Степанович и его возлюбленная Клавдия. Был Белый Кит и чешуйчатокрылый ангел. Черт побери, наша жизнь была!

2.

Обыватель Приморска Андрей Степанович, старик с полувоенной выправкой мента или вора (он был и тем, и другим), с улыбкой инока, как у мальчиков в школьном туалете, задремывал на полу подле гроба своей жены Клавдии, в день накануне похорон. Поначалу Андрей Степанович лежал в своей комнате, но с приоткрытой дверью (как она там, одна?), а потом переместился вместе с лучами закатного солнца в гостиную. Пол был надраен туфлями гробовщиков и тапочками соседей, а потому прохладен и отражал большой полированный ящик, установленный на стол. Две пустых рюмки и тарелка с мусакой (еще жена позавчера приготовила) тихо прикорнули рядом с гробом. Только возле жены он еще мог думать и вспоминать.

Вот и выпили мы с тобой, Клавдия, на брудершафт.

Старик был до помутнения трезв, а потому раскладывались воспоминания легко, нанизывались на нитку, как сушеные белые грибы. Каким же был день, когда Андрей Степанович впервые увидел Клавдию, красавицу-гречанку с экономического факультета? Не руки-ноги античной статуи, не лилейную шею, бедра с обводами пиратского фрегата, маленькие ступни блудницы. А всю жену, до трещинки на зубе, как на рентгеновских картах.

Когда она пошла в степь и остановилась перед монгольской конницей. Как суслик замерла перед Номадом, трубочкой вытянув губы. Князь степи ничему не удивлялся. Он, владыка полумира, рожденный от степного волка и кобылицы, даже не отдавал приказа – туча стрел закрыла небо, но ни одна из них не коснулась девушки, даже тени ее.

И тогда Номад взглянул на нее. И Клавдия увидела за забралом старое лицо пожившего и испытавшего всю земную власть человека.

И она пожалела его. И полюбила его.

3.

В Приморске в конце 80-х случился свой апокалипсис. Пожалуй, никто из обывателей городка не придал этому никакого значения.

Что-то невыразимо подлое, как кровь с ошметками мозгов в золотой сетке женских волос, надвигалось на городок с восточных рубежей, обдавая притихших обитателей запахами конского пота, истлевших в походах сафьяновых сапожков князей и обтянутых младенческой пуповиной сапог простых всадников. Но угрозы смерти это не несло, сколько раз до этого степняки накатывали на Приморск – и что же?

Степь, закатив золотистые от цветущего ковыля бельма к поникшему небу, все так же отделяла Приморск от остальной земли. Было невыносимо жарко. Запах чебуреков смешивался с запахом прожаренной плоти, и даже пляжные воришки не могли понять – чудят торговки? Город был у моря, но море не могло его спасти. Дельфины, стоя на волне на сильных гибких хвостах и вытягивая шеи в сторону пляжа, дрейфовали к турецкому берегу черными спинакерами.

Столетиями набег ордынцев мнился другим: сусальным, в глянце, как обложка «Огонька». Да, кровь и блуд, но в интуристовском варианте. В реальности, как и всегда, все было не так, словно сквозь глянец проступил жир завернутых в него чебуреков.

Шум о нашествии медной монетой прокатился по городу и стих. Никто из обитателей даже не шевельнулся, не делал попытки убежать, спрятаться в арке дома или забаррикадироваться в обесточенном троллейбусе. Молчало радио гражданской обороны. Не трезвонили, как птички-вещуны, китайские пейджеры. И даже гостьи городка, пляжницы, завернув подсоленные орешки сосков в полотенца, не бросились в набегавшие волны.

Пыльная жизнь Приморска продолжалась еще некоторое время.

4.

Похоже, все в Приморске ждали набега. И всем было наплевать. Ничего в их тусклой жизни – ни пришествие варваров, ни скорое падение советской власти изменить не могли. Достоин ли был жизни такой город? Зачем Клавдия поселилась и умерла здесь? Зачем она выбежала навстречу варварам? Остановить Номада? Это не удавалось еще никому. Так зачем?

Много, слишком много вопросов. Только жена, Клавдия, могла ответить на них. И еще – приласкать, перебирая пряди волос на его голове. Но жена лежала в гробу тихая, присмиревшая, от закатного солнца в окно чуть распаренная, как блюдо с омаром. Блестевшие в косых лучах ее эллинские скулы, от которых душистым горошком отскакивал свет, придавали этой минуте прощания с ней торжественность и нежность. Андрей Степанович взял маникюрные ножницы и подравнял чуть отросшие ноготки на руках жены.

Красавицей покойная не была. Но все, кто соприкасался с ней, отмечали веселость нрава, горделивую поступь, вельможный поворот шеи. И даже егозливые усики над верхней губой придавали ей то очарование непорочности, которое останавливало немногих ее мужчин от последнего шага с предложением женитьбы. Озорница, стрекоза! И только Андрей Степанович, то ли в запале, то ли в холодном расчете, это предложение сделал.

Эх, не похожа ты, Клавдия, на тещу, отрезанный ломоть, колбаса краковская.

5.

Теща Андрея Степановича, урожденная графиня Кавафис-Георгиу, была исполнена аристократической красоты. Ее головку должен был украшать фрегат, как у всех дам света, но 1917 год отмел это излишество парикмахерского искусства – уцелеть бы самой голове, и мама Клавдии, родившаяся в Париже, в своей метрике в переписи населения Советской России 1924 года добавила – Париж, Оренбургской губернии. И чтобы уж никакого сомнения в инаковости советским не было, рожденную перед войной дочь болванила под ноль, «под Котовского», и лишь после войны, студенткой, Клавдия отрастила себе пышные волосы. Не в хрущевской вольности все же было дело – появившееся в продаже мыло наконец-то ударило по вшам со всей пролетарской свирепостью. Прелестная гречанка уже не выделялась среди студенток комиссарской внешностью, а с возрастом все более становилась похожа на торговок местного Привоза. Короткие юбчонки трещали под напором ее бедер, и это было единственным, за что сослуживцы, пресные воришки и расхитители, уважали Андрея Степановича.

Да и в старухах Клавдия была не без шаманства, завораживая публику светом смарагдовых глаз. Впрочем, сам Андрей Степанович, как человек просвещенный, материалист, больше ценил в жене ту особую степень покорности, даже рабства, в которое добровольно впадают замужние аристократки.

И все же норов графский, пыльный, как томик Байрона, в жене проявлялся время от времени.

Я умру старой бл*ю!

Так нередко говорила жена во время очередного загула Андрея Степановича, непременно с сауной и визгами. Не девок страшилась жена, а того, что трахнет удар бойкого мужа и придется делать перестановку в спальне, перетаскивать его половинку кровати ближе к окну, подпиливать ее, чтобы чуть приспустил ноги – и сразу в объятия тапочек. А это плотник, подмастерья, водка в аванс, легкая золотистая пыль старого ореха по всему дому. Хлопоты! А о том, чтобы Андрей Степанович ушел на тот свет раньше, даже мысли у нее не было.

6.

В городе, где родился и жил Андрей Степанович, смерть была делом настолько обыденным, что колонка некрологов на предпоследней странице «Приморского вестника» выходила слипшейся со страничкой рекламы зубных протезов. Ее никто и не открывал. О смертях здесь узнавали практически сразу, будто дух умершего хлопотливо обегал всех знавших его обывателей. Зубы же у всех были крепкие, а челюсти стальные.

Единственной новостью в Приморске стало бы нашествие варваров. Впрочем, даже такая новость не могла просочиться на заглавные страницы местной прессы. Монголов ждали здесь со времен Хазарии, и ожидание это было не устным преданием или шуршанием летописей. На пупке каждой рожденной в Приморске девочки, в таинственной его глубине, кармином тлела горошинка сморщенной плоти. У мальчиков же сей знак был более сокровенным, и только во время ночных блужданий по телу рука мальчика непременно застывала на этой отметине.

Хазореи мы. Так предписано. Так будет всегда. И монголы – враги наши.

7.

Андрей Степанович оставил на время жену одну и спустился во двор, а потом ноги сами понесли его за угол, в стеклянный аквариум кафе «Ландыш». Кафе было полно пузатых алкашей, и тощеватому, стройному Андрею Степановичу пришлось немало потрудиться, чтобы упоить их в усмерть. Сам же Андрей Степанович пил строго и серьезно, ни с кем не чокаясь, а когда начались чоканья и разговоры за жизнь, понял, что его миссия вдовца выполнена.

Это ж надо было так надраться!

Андрей Степанович протопал в белых мокасинах по зеленой, как плащ-палатка, луже и сел на скамейку. Несколько шагов от кафе до парка для него казались вечностью, печень бухала в животе морской рындой, отбивая в тумане последние мгновения перед встречей с Белым Китом.

8.

Жизнь долго готовила Андрея Степановича к этой встрече. Он родился ментом, в ментовской же квартире, где запах кислых щей своей домовитостью истребил запах отцовских кирзух. Отец его был участковым, скрипел кожей,

но был человеком страшным только на вид. В соседях же затесались следаки, вертухаи, судейская шушера. Соседи пили, матерились, перед Ноябрьскими и Новым годом, стрелялись, и жены соскабливали с зеленых челок елочек мужнины мозги.

Юный Андрей Степанович, ментовской сын, недолго раздумывал над своей судьбой. Черту оседлости он решил никогда не переступать. И осуществить это на новой основе, не как отец – ловить алкашню в подворотнях, служить заточкой для хулиганских ножичков, трахать пыльных шлюх в панельных однушках. Он выбрал адвокатуру.

Но поступить в Приморский юридический – все равно что через Штаты слинять в Израиловку. Лучше было бы наоборот. Связи отца никак не прокатывали – если и жили в их районе люди от юриспруденции, то скорее паспортистки с бл*скими щербатыми ртами и вертухаи. Не тот был район. Хотя, в сезон, для пляжниц из столицы самое оно – и море в шаговой доступности, и съем жилья без проблем.

Степан с женой и сами сдавали угол москвичкам. Море было за углом, блестело в окно угловой комнатки наманикюренным ногтем. Москвички прямо с утра, на ходу натягивая шорты на папирусные зады, уходили на пляж. Полоса их запахов – серой ветки метро, болгарских родопей и шипки, солнцедара по восемьдесят семь коп. за горло еще долго тянулась по квартире.

Оторваться от созерцания примятых солнцем задниц у Андрея Степановича не было никаких сил. Был он обычным приморским юношей, гундосым, кривоногим, с ясными ястребиными глазами. Как и все. И судьба у таких шлимазлов была одна на всех: скорый триппер считался самым легким выходом. А так – рыжеволосые москвичи рождались по весне, портя мамашкам планы на новый отпуск. Или жертва насилия не давала менту, и изнасилование оформлялось по полной, с пятнашкой с лагерем строгого режима. И летели голубками хазарейские юноши в сибирские да вологодские колонии, по клюковку. То же и Андрея Степановича, несмотря на его лень и склонность к полюбовному замирению пляжного насилия, ждало. Но тут мама в очередной раз закатала голубцы в огромную кастрюлю и взялась за дело.

Рыжему надо делать биографию.

Андрея Степановича взяли в армию, но не в десант, о чем грезилось на плацу призывного пункта, и даже не в стройбат – в конвойный полк МВД. И простоял Андрей Степанович два года на конвойной вышке в пересыльном лагере Дальний, бывшем Особлаге № 6. Даже и вспомнить особо нечего. Дымный разрез узкоглазой степи, редкие чахоточные плевки маков по весне, блатной прищур сквозных ветров осенью и зимой.

И всего один выстрел, даже не знаю до сих пор, попал? Есть на мне кровь?

Зато – отличная характеристика от начальства лагеря, поступление с ходу на юрфак, карьера в заготконторе от юрисконсульта до старшего юрисконсульта. И ушли его на пенсию удачно, до посадки всей верхушки заготовителей. Тихушник, как говорила про него всю жизнь жена Клавдия. А теперь вот померла, и говорить-то некому. Словно новая жизнь началась, какая там грезилась, на плацу – в десантуре или стройбате, с проломленной киркой головой. Шальная жизнь.

9.

И начинать ее надо было тотчас, пока Клавдию в гробе наподобие бомбоньерной коробки не вынесли из квартиры, и жирные мухи долизывают вечный грим с прикрытых век. Чтобы видела, курва, графинюшка, какой он есть, Андрей Степанович, на самом деле!

Андрей Степанович силился встать, но окончательно размяк от этих усилий и приобнял скамейку еще крепче.

Сама же скамейка была чудо как хороша. Обводы металлического сварного каркаса перетекали в кусты жимолости, наборные планки из полированного дерева приятно холодили тощий зад. Андрей Степанович пребывал в том гармоничном состоянии, когда еще один глоток паленой водки мог вызвать извержение вулкана, а недобранный глоток с точностью до наоборот окрасил бы парк, стекляшку кафе, жимолость и скамейку при ней в казенные цвета. Он смахнул с гладкого и темного, как ногти с траурной каемкой, свежевыкрашенного металла несколько дождевых капель.

Жизнь хороша! Пламенна!! Восхитительна!!!

На трех восклицательных знаках интеллигентское сознание Андрея Степановича запнулось и перешло в томную физиологическую фазу. Он шумно задышал, хлопоча лосиными ноздрями.

Мысль дальше не шла. Но чувство к жене еще покрывало его душу, как несколько капель конденсата в выпитой до дна водочной бутылке.

Как я без нее. Клава, на кого. Клава это Клаудиа. Клаудиа Кардинале. Бл*дь. Стоять! Стрелять буду.

Таков был алгоритм его следующих размышлений, но его нарушило появление Катеньки. Молодая женщина отделилась от мокрых кустов, как бабочка отделяется от кокона или вечерний свет парковых ламп от чугуна столбов.

– Встаем, поднимаемся. Андрей Степанович, вам плохо?

Ну как ответить на глупый вопрос? Так хорошо мне еще никогда не было.

Но вежливость требовала внятного, логичного ответа на вопрос Катеньки, и Андрей Степанович, схлопнув интеллигентное лицо до стадии выжатого лимона, что-то пробурчал. Часть неусвоенной организмом водки капельками брызнула на Катенькин плащ. Этикет был соблюден.

– Домой, домой, нам пора домой.

Под тихое пение Катеньки Андрей Степанович привстал со скамейки и крепко сжал ее локоток. От женщины пахло молодостью, беспечностью и обещанием скорой смерти. Вот этот нюанс Андрей Степанович почуял прежде всего.

– Клавдия скончалась. Знаешь, поди.

Медсестра несколько напряглась, плащик ее скукожился, приоткрывая матовые, как светильники в парке, округлые коленки.

– Знаю. Сочувствую. А я вот к ней с укольчиками собралась. Иду по подъезду, а все плачут. И дверь ваша отворена.

– Вот ведь как. Была и нету. И ничего не сделаешь. Тем более укольчиками.

– Зачем вы так, Андрей Степанович? Ведь годика три натянули мы Клавдии. Вот этими укольчиками. Кстати, возьмете остаток? Да и ключики ваши, вот, в карман кладу.

Так и вошли они, перезвякивая ключами от квартиры и металлической коробочкой со шприцами, в парадную.

10.

Года три назад жена Андрея Степановича заболела. Видимых следов болезни, чахотки какой-нибудь, оперного туберкулезного румянца и в помине не было, но что-то стало угнетать, сминать жену. Ни прежней живости в движениях, ни остервенения в ссорах уже не было. Она безучастно смотрела на похождения супруга, решившего инвестировать ворованные у государства деньги в частную жизнь.

Знакомая шлюшка из районной больницы, с которой Андрей Степанович делил свой номер в сауне, после очередной помывки озаботилась и подыскала для Клавдии медсестру. Уколы, массаж, нечастые разговоры за жизнь между приемами пилюль. Уютная, милая, с глазами как раздавленные виноградины Катенька с той поры стала украшением их квартиры. Катеньку полюбила Клавдия и стала ревновать к Андрею Степановичу его «сосаунщица».

Однажды, когда после уколов Клавдия задремала, Катенька вызвала Андрея Степановича на разговор.

– Долго она не протянет. Что делать будете?

Андрей Степанович пробовал притушить пламя Катенькиной речи глотком киндзмараули, но вино не забирало.

– Катенька, не рано ли об этом?

– Нет, в самый раз. Все ли о жене, такой привычной, удобной, располагающей, вы знаете? Андрей Степанович, вы боитесь додумать мысль, а ведь она вас мучает, мучает с того момента, как вы солдатиком конвойного полка на вышке стояли. И стреляли.

– Это мой долг. Устав, понимаете ли.

– Я не об этом, – мысль Катеньки расплывалась медовым маслянистым пятном, как глоток кахетинского. – Вы сразу не поймете. Было ли ощущение, что вы стреляете в себя?

– Что-то подобное я ощутил. Но лишь на мгновение. Потом ударили выстрелы с соседних вышек, затренькала вертушка, всполошились прожекторы. Побег был прерван. А мне на три дня раньше удалось выйти на дембель.

– А если бы каждый выстрел в человека сокращал срок службы на три дня, и раньше бы стреляли?

– Без сомнения, Катенька. Только вот случая не представилось. Дальлаг, знаете ли, серьезное учреждение. Первый случай побега почти за полвека!

– Не убегайте от себя, Андрей Степанович. Скоро вам придется сделать такой выбор еще раз. Стрелять или не стрелять.

То ли киндзмараули было тому причиной, то ли отблеск Клавдиных пузырьков и склянок бросал неверный отсвет на лицо Катеньки, но показалось тогда Андрею Степановичу, что кожа ее покрылась струпьями.

– Просто я нервничаю, Андрей Степанович. То, что вы услышите, будет логично, но всю картину вы не поймете. Налейте еще глоточек.

И Катенька поведала изумленному Андрею Степановичу всю картину жизни, где их размеренная действительность с ее пыльными новостями, невзгодами и тайными радостями выглядела тускло и уныло, как холст над очагом Папы Карло. Но было ли у Андрея Степановича желание протыкать холст своим длинным носом? Пожалуй, нет.

И дальнейшее, что сопровождало финал этого долгого разговора на кухне, его уже не смущало. Катенька оказалась чешуйчатокрылым ангелом-хранителем, посланным в Приморск защищать Клавдию, единственную душу в этом мире, которая была милосердной. Но о тонкостях этого разговора Андрею Степановичу все же пришлось забыть. Да и Катенька постаралась, подмешивая незаметно в киндзмараули сок темных степных трав.

10.

Перед входом в квартиру было суетливо, соседки при виде Андрея Степановича мяли черные платки, не зная – пригласит ли их хозяин в квартиру.

Да уж поди все там исходили. Дверь-то не заперта.

Так подумалось Андрею Степановичу, но бурчать вслух он не стал. Пользуясь правом вдовца на скорбь, молча кивнул соседкам и вошел в квартиру. Катенька вошла следом.

Гроб с женой стоял на прежнем месте, и кольца на длинных пальцах Клавдии были на месте, но что-то в комнате неуловимо изменилось. Выпукло стало все, шатко, неустойчиво, словно провели по интерьеру широкоформатным объективом, вспучив пространство, да так и оставили.

Андрей Степанович присел за стол, вонзил вилку в тарелку с мусакой. Рыжий баклажан задышал на конце вилки, тонко так, как пружинка в часах. Надо было что-то говорить, но подобающих слов не было.

– Возьмем время как субстанцию, как оболочку пространства. Можно гонять его туда-сюда, перемещаясь из старости в детство, из детства в гроб, и так шатаясь по жизни и наливаясь соком мудрости. Но ведь не получается. Гирька какая-то на конечной стадии жизни как грузик на одной чаше весов. Тормозит!

Катенька, скинув плащик, взяла из-под носа Андрея Степановича тарелку с мусакой и перенесла на журнальный столик, подальше от гроба, а Андрей Степанович сглотнул кружок баклажана и замер с поднятой вилкой у рта. Впервые за долгие годы на девушке не было привычного хала-

тика медсестры. Офисная блузка, как у помощника судьи в райсуде, уж насмотрелся за годы юрисконсульства Андрей Степанович на таких канцелярских барышень. Исполнители.

Андрей Степанович направил вилку в сторону Катеньки, поддел концом краешек ее блузки. Заголился живот, плоский, как медный щит ахейца.

Как Эйнштейн! Тоже, поди, из хазореев, любил вилочкой в континуум потыкать. На слабину проверял!

– А вы ведь не из наших, Катюша. Не хазорейка. Давно подозревал.

– Мента не проведешь! Да уж, не принцесса на горошине.

Катюша раздвинула пупок длинными, как у Клавдии, страусиными пальцами. Донышко пупка блестело, как выпитая стопочка.

– Я уже все рассказывала про себя, Андрей Степанович. Но потом сделала так, чтобы вы все забыли.

Андрей Степанович внезапно ощутил покрытую зелеными струпьями кожу медсестры, заострившееся, как у кузнечика, лицо с громадными полусферами. Глаза? Телеобъективы?

– Клавдия знала, кому жизнь доверяла?

– Мы сдружились за эти годы.

– Что не помешало вам ее убить.

– Это вы ее убивали. Ежесекундно, методично. Как таблеточки заглатывали.

– Чем это? Трусостью своей? Подлостью?

– Нет, вы не трус. И подлецом особо не были, все делали открыто – крали, гуляли, трахали девок. Даже любили ее открыто. Как песком оттирали мрамор. А мрамору это не нужно.

Андрей Степанович на секунду задумался. И кто знает, чего больше было в этой секунде – полноты счастья, которое подарила ему жизнь, или ответственности за сохранение этого дара. Как будто янтарная капля повисла на карнизе и думала: падать на землю или еще подрожать на солнечном ветру.

– Любили вы ее, ох, сильно любили! И только это спасает ваше существование. Делает его осмысленным. Милосердным. Но эта невыносимая тяжесть, Андрей Степанович, продолжать жизнь за нее. Клавдия не выдержала, надломилась. Продержитесь?

Андрей Степанович не нашел, что ответить Катеньке. Но чувства его переполняли. Стоит ли взваливать на себя то, чего ждет от него Катенька? Зачем? Не проще ли сразу покончить с собой и лечь червонным валетом в ногах у Клавдии...

От полноты чувств вилкой Андрей Степанович колупнул обивку гроба. Обивка задралась, как юбочка выпускницы. Стенка ящика была испещрена саморезами. Тайник! Колупнул еще раз, царапнул головку самореза. Накладка стала отставать, и в глубине тайника засветилось что-то траурно маслянистое.

Как обрешетка скамейки в парке. Но металл крепче, проворнее, лютый металл.

– Пищаль XVI века, – пояснила Катенька, орудуя шестигранником и отворачивая крепежки одна за другой. – Работа мастера Иоганна Брамса, кстати, родственника. Так нужно. Это проверка, Андрей Степанович. Вашу квартиру мы обживали все эти годы – носили по винтику металл, чтобы никакие детекторы не определили смертоносное оружие. Нукеры повсюду. Ваша квартира самая удобная – окна Номада как раз через двор, вон в той пятиэтажке.

– Разве он жив? Разве не повернул свою тьму назад, в степь, после встречи с Клавдией?

– Варвары живут повсюду. Они растворились в городе, взяв в жены ваших женщин, и они родили новых воинов. Хазареи больше нет. А после смерти Клавдии не стало и ее защитников.

– А вы? Кто же вы, Катенька?

– Всего лишь ангел. Я даже спасти человека не могу. Да и не в этом цель нашего существования. Мы лишь несем свет истины, а уж как вы им распорядитесь...

Из рюкзачка Катенька достала снайперский прицел и наживила его на пищаль.

– Согласна, излишество, понты, – поспешила успокоить старика Катенька. – Но на противника действует неотразимо. Будьте добры, Андрей Степанович, мешочек с порохом, на кухне, возле спичек.

– Зачем все это? Зачем вы вообще вошли в нашу жизнь? Три года ухаживали за Клавдией, с рук ваших она ела, вас во сне звала. И вдруг – муть какая-то. Киллеры, шпионы, рогульки космические. Не наигрались?

Медсестра взгромоздила пищаль на подоконник. Со стороны она смотрелась астрономом-любителем, чудаком, уткнувшим домашний телескоп прямо в сосцы вечерней Венеры, если бы не напрягшийся остро зад под юбчонкой и не накачанная спина, пустившая офисную блузку нешуточными волнами.

– Зачем? Показать путь. Вам самим не справиться с этой бедой, Андрей Степанович.

11.

И тут Андрей Степанович увидел себя на конвойной вышке. Он зорко вглядывался в степь. И степь вглядывалась в Андрея Степановича, солдатика конвойного полка, второгодка. Степь ощерилась снежными бурунами, ветер позвякивал колючей проволокой на ограждении лагеря. Неуставной шарфик, которым как в детстве был прикрыт ястребиный нос юного Андрея Степановича, ворот полушубка, солдатская ушанка с пентаграммой в виде красной звездочки – все было покрыто струпьями измороси.

Скоро дембель. Дембель, дембель!

– А что увидел я за эти два года? – дышал в шарфик Андрей Степанович. – О чем поведаю приморским девушкам, тычась в их влажный, теплый, склизкий как медуза пах?

Коврик полыни в полутора метрах от колючки? Золотые иголки типчака вдоль трассы на райцентр? Бороденку тонконога у солдатской столовки и под крыльцом барака для ссыльных?

И степь услышала его гундосую молитву. Со стороны райцентра из метели вылупилось темное яйцо «уазика»-буханки, и от бу-

ханки отделилась икринка человеческого тела.

Девка, девка. Сука, меня не проведешь.

И тут он выстрелил.

12.

Андрей Степанович подошел к подоконнику и положил руку на плечо Катеньки.

– Это была она, Клавдия? Девушка из моего видения?

– Да. Клавдия Алексеевна рассказывала мне часто о той поездке. Ее возлюбленного за изнасилование посадили. Дали строгача. Клавдия не верила в справедливость приговора. Да так оно и выяснилось: подстава. И вот поехала к нему на свидание, в Кустанай, в лагерь.

– Похоже на нее. Клавдия ощущала себя спасительницей мира. Это у них, аристократов, как прононс. И теща такой же была. Мужа в концлагерь сначала большевики, потом фашисты, потом снова большевики, а она плат оренбургский наденет – и к воротам. С узелком. Пирожки там, колбаса, носки непременно теплые. А платок, помню, в Париже куплен, в 9-м квартале есть бутик оренбургских платков. Казаки еще тогда открыли, когда Париж нашим был.

– Она спасала и вас, всю жизнь спасала. Как монахиня, обнимала ладонями язычок пламени свечи. Оберегала. Вы стреляли в нее, тогда, в Дальлаге. Возможно, попали. Но не в девушку. Через день в лагере появился новый холмик. Там начальство захоронило тело ее возлюбленного. Якобы при попытке к бегству. А Клавдия ждала его. Поэтому и за вас замуж согласилась пойти, чувствуя, не дождется любимого. А там, за городом, в степи, увидела Номада. И узнала в нем черты пропавшего возлюбленного. И полюбила его.

– Так вы здесь поэтому?

– Я исполняю ее волю. И доделываю то, что не сделала она.

Андрей Степанович словно что-то решил для себя, важное, что раньше не проявлялось в нем.

– Катенька, отойдите от окна. Я сам.

Женщина искоса посмотрела на Андрея Степановича, недоверчиво, но уже через мгновение ее глаза потеплели, засветились в них розовые и зеленые лампадки.

– Вообще-то я наемница, профессиональный киллер, – в чуть раскосых, как груди Афины Паллады, глазах Катеньки плескался задор, совсем как у молодой Клавдии.

– По стойке и манере поглаживать цевье догадываюсь. Но все же, все же я сам.

Только позже. Не при Клавдии. Похоронить надо.

13.

На следующее утро гроб с Клавдией проплыл по лестничной площадке и, как байдарка на карельских сплавных маршрутах, ухнул вниз по лестнице. Крепкие руки носильщиков придерживали Клавдию. Она плыла над черными платочками соседок как молодая графиня на балу, и перстни ее не слепили никому глаза.

После короткой церемонии на кладбище Андрей Степанович сквозь кустарник спустился к морю. Гроб еще не закидали землей, и он торчал в яме чужеродным вкраплением, светился карминово, как горошинка в пупках девочек-хазореек. С утра парило, и молочная пенка тумана с моря наползала на город, набухая синим и зеленым.

– Белый Кит, Отец и Матерь, чадо небес, хозяин Океана. Приди, приди! Тебе вверяю я жертву искреннюю, плоть плоти своей, свет света своего.

Андрей Степанович молился, и слова его ложились доминушками так ладно, шестерка к шестерке, однушка к однушке, хотя слов молитвы он совсем не знал. Но для Белого Кита это было совсем неважно. Кит всплеснул хвостом, и море разошлось под ним, до самых мельчайших моллюсков и морских звезд в глубинах, до темной усмешки усатых придонных рыб. Море задышало и извергло огромную волну. Волна зеленым куполом взметнулась над Андреем Степановичем и синим, водорослевым, пенным краем зацепила гроб Клавдии. Через мгновение в земляной яме было пусто. Ничуть не удивившиеся могильщики зарезервировали эту могилу для нового постояльца – не пропадать же добру!

14.

Дома, к вечеру, Андрей Степанович еще раз протер пищаль, уничтожая даже память о Катенькиных пальчиках, и опер щеку о цевье. Металл работы мастера Иоганна холодил, давал отсвет на серебряный висок Андрея Степановича, делая лицо моложавым и строгим. А может, значительность момента придавала Андрею Степановичу силы, кто знает.

В прорезь оптического прицела (не нужно было даже настраивать по диоптриям) виднелся кусок шторы весьма пряной расцветки, будто золотые паучки бежали по ней и без устали ткали, приращивая штору до бесконечности.

Андрей Степанович на одно дыхание довернул пищаль влево. В просвете шторы открылся интерьер: колченогий стол, унылый венский стул и за столом... Да, это был Номад, хозяин миллионного войска варваров. Он был мертв, только плов также дымился перед ним, а за спиной, на криво прибитом гвозде, золотом тлела кольчуга.

Только Клавдия могла оживить его. Для этого она пошла в степь, когда было нашествие. Стояла перед ним нагая, гибкая, певучая, как ногайский клинок. Любила...

Андрей Степанович снова ощутил себя на конвойной вышке. Девичья фигурка, разросшаяся из матового шарика икринки, бежала к колючей проволоке.

Андрей Степанович прицелился. Выдохнул, как перед принятием стопарика. Мягко повел язычком спускового механизма, удобно поместившегося между костяшками указательного пальца.

– Андрей, стой, не стреляй! – горячий шепот ожег руку, и рыжие волоски затлели на старческой кисти, на шее, подожгли висок. Клавдия! Под сердцем Андрея Степановича кровью толкались, захлебываясь, ее слова.

Как я без тебя. Андрюша, на кого. Бл*дь. Стоять смирно, не стрелять!

15.

Туристы вывалили из автобуса на берег залива, бледные ноги в бермудах, белые ступни в сандалиях. Палочки для сэлфи трепетали на ветру тростинками. Чайки, не привыкшие к такому вторжению чужаков, обложным языком взмыли над волнами.

– И вот это место у одесситов сакральное? В жизни бы не поверил.

– Зона... Да у нас в Сибири таких мест.

– Ну да, я был с экспедицией. Сихотэ-Алинь. Гиблое место. А тут пляж, даже скупнуться можно. И почему они выбрали его для конца света?

– Этот гид говорит по-русски? Или на нормальном одесском языке?

– Сихотэ-Алинь вообще-то Дальний Восток! Пивка захотелось, с креветками. Мальчишки, кто после обеда со мной на Привоз?

– А тут совсем не страшно. Тарковского смотрели, конечно. Вот эти впадины, трещины и уступы, вода ниоткуда и никуда. Электростанция.

– Того и ждешь, что палатка по продаже кукурузы возникнет.

– И фотограф с обезьянкой!!!

Шеи туристов, все же прихваченные южным загаром, к концу тура уже не вертелись по сторонам, но гид умел раскрутить и не таких. В конце концов, он должен был красиво отработать эти полчаса перед отъездом в Одессу.

– Вот что осталось от большого города! Приморск считался столицей древнего народа – хазореев. – Гид почти кричал, перебарывая шум волн, крепкий ветер раздувал его ветровку. – Великая потайная культура Хазарии ушла в песок. В преданиях говорится, что город разрушат враги Хазарии, степные половцы, ведомые князем степей по имени Номад. Но что произошло на самом деле, никто не знает. Мгновенно. Целого советского города – как и не было! И свидетели этому лишь ракушки на берегу да эти чайки!

Море мерно дышало. Мужчины прыгали на одной ноге, стараясь вытряхнуть золотой приморский песок из сандалий, некоторые женщины разулись и шли по берегу босиком.

Гид тоже встал на одной ноге, как чайка, и стянул туфлю. Песок даже не сыпался, как в песочных часах, а слетал с ладони, пластинки кварца кружились на ветру мошкарой.

– А может, и не песок это вовсе, а пепел, – подумал гид, но додумывать эту мысль перед обедом не стал.

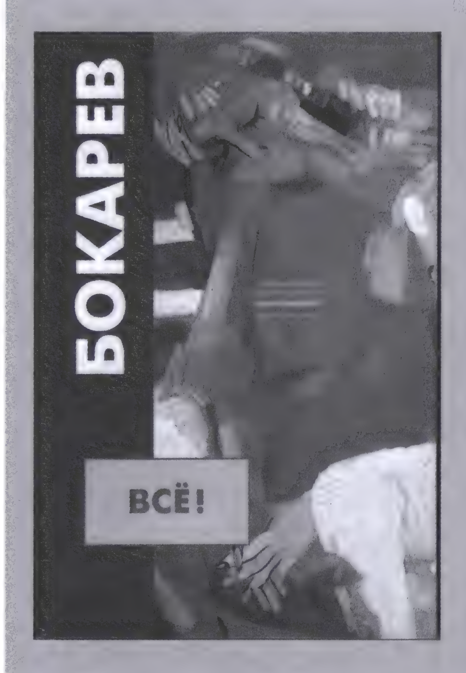
Андрей Степанович с лейкой на коленях сидел на краю Клавдиевой могилы. Рядом возилась Манька, то почесывая за ухом, то отгоняя чаек. Ручки ее ласково гладили голову Андрея Степановича. Автобус с туристами развернулся на прибрежной кромке, выбрасывая песок из-под колес, и укатил в сторону большого города.

– Мань, ты прямо как принцесса, моя возлюбленная. Знаешь, какая ласка была у принцесс самая искренняя? Расчесывали голову своих принцев и извлекали паразитов. А мужская ласка знаешь какая? Ноготки принцессам подстригать.

Чайки кружились над ними. Море набухало зеленым и синим, словно силясь исторгнуть из себя что-то невиданное.

Придет, появится Белый Кит. Я разучился молиться, забыл слова. Манька понимает и без слов, а Клавдия все равно не услышит.

Я не прошу тебя, Белый Кит, вернуть ее на землю. Но в последний миг, когда ты решишь, что заигрались мы на земле и захочешь вернуть нас в лоно моря, передай Клавдии мое слово. Какое? Она знает.



Серия «Библиотека прозы Каменного пояса»
Г.К.Бокарев «Всё!» Киноповести, повести и кое-что еще.

Из предисловия: «Всё!?

Нет, конечно же, не все. Если иметь в виду написанное мной за почти полвека. В эту книжку поместилась едва ли четверть. Но речь о другом...

Неужели это действительно всё? Итог? Или, как говорят счетоводы, итого? Всё, что я увидел, услышал, ощутил и понял в этой жизни? Для чего, наконец, жил?

Видимо, да. И даже если Бог сподобит меня прибавить к написанному еще некоторое количество строк, принципиально они ничего не изменят: должно быть, именно таким я увидел мир, в который пришел когда-то, и именно таким оставлю его, когда уйду.

...Моим ровесникам и тем, кто чуть моложе, будет что вспомнить. Тем, кто просто молод, возможно, будет любопытно узнать, о чем мечтали и во что верили их родители. Тех же, кто просто юн, надеюсь, увлекут и позабавят приключения героев некоторых сценариев.

Впрочем, читатель на то и читатель, чтобы оценивать и судить. И если уж писатель рискует представить публике всё то, чем он жил, о чем думал, что любил и что ненавидел, он должен быть готов к суду самому беспощадному.

Так что вперед, читатель! Не церемонься! А главное – читай!»

Геннадий Бокарев.



ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ...

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Стэф САДОВНИКОВ

Член Союза художников России и Молдавии, член Союза русских писателей Молдавии им. А.С.Пушкина, член Союза кинематографистов конфедерации России и стран СНГ, участник более 60 коллективных и персональных выставок в СССР, России, Молдавии, Украине, Германии, Польше, Израиле и Голландии. Автор трех литературно-поэтических изданий, десятка научно-исследовательских статей по средневековой геральдике балкано-карпатского ареала.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Правая сторона улицы 28 ИЮНЯ начиналась с Дома культуры масложиркомбината, далее стоял военный госпиталь, стадиончик «Спартак» с открытым бассейном и Дом офицеров (бывшее дворянское собрание), в котором ежевечерне крутили кино, танцы и, конечно же, любовь, где местные девицы по уши влюблялись в хорошеньких солдат и заезжих бравых офицеров...

Ах, сколько девичьих сердец там было разбито-покалечено!

Эта длинная улица 28 ИЮНЯ тянулась по некой кривой и почти упиралась в окраинный район города, откуда начиналась дальняя дорога в столицу.

И вот он, малыш, идя по этой улице, остановился на перекрестке с самой длинной улицей ЛЕНИНГРАДСКОЙ. Справа, на углу за перекрестком, виднеются монументальные действующие военные казармы еще николаевских времен, далее – типография с издательством газеты «Коммунист», а там снова перекресток, и уже с самой главной и центральной улицей имени ВОЖДЯ. И там же, на том перекрестке – любимый всеми детьми кинотеатр «Пионер».

Обок кинотеатра стоял величественный и красивый из белого камня собор святых Константина и Елены, превращенный в краеведческий музей.

Куда идти дальше?

Направо свернешь – в пыльную и скучную промзону попадешь.

И пошел малыш налево, на встречу со своим городом...

«С чего же начинается этот загадочный город», – думал малыш.

Он останавливался почти что у каждого красивого, на его взгляд, дома и подолгу им любовался. Глаза его с любопытством перетекали с окон на крышу. С крыши его глаза перескакивали к балкончику, застревая на шикарной даме, курившей папироску, насаженную на длинный мундштук. Она громко, на всю улицу, прокричала:

– Что ты тут все разглядываешь?

Не обратив внимания на окрик, малыш перевел взгляд с балкончика к угловой двери, обозначавшей стык улицы ЛЕНИНГРАДСКОЙ с улицей ХОТИНСКОЙ.

В этом угловом здании, до развала центра города, был отдел «Союзпечати». Его овальный угол невольно заставлял автора поворачивать на уютную ХОТИНСКУЮ улицу.

Очаровавшись дамой и домом, малыш продолжал путешествие в будущее, которое пока еще не имело судьбы.

Пройдя дальше по ЛЕНИНГРАДСКОЙ, он увидел еще один дом с угловой дверью.

«Да, – сказал автор малышу – там, до его разрушения в 1970-е годы, размещался магазин «Букинист». А в этом магазине работал маленький человечек по имени Аркадий. Всегда чрезвычайно аккуратно одетый, с аккуратной прической, вежливый и внимательный, он всегда был рад встрече посетителя с книгой. Аркадий слыл большим ценителем живописи (альбомной, другую вряд ли ему удавалось посмотреть). Очень любил иллюстрации художника Марка Шагала, и когда о нем заходила речь, Аркадий закрывал глаза, вожделенно и негромко произносил: «О-о-о... Шагаль!..»

Именно так – Шагаль!..

Над этой дверью «Букиниста» виден удлиненный стильный балкон. Там, на втором этаже с вы-

ходом на этот балкон, жила некая светская дама. Поговаривали, что она – бывшая оперная певица. Иногда с этого балкона раздавались приглушенные звуки фортепиано и голос женщины, поющей классические пассажи.

Ну, чем не Европа?

О, Pari!..

Какой удивительный дом жил на этом перекрестке улицы ЛЕНИНГРАДСКОЙ с ДОСТОЕВСКОЙ. «Днем он монументально-красивый с навершием, напоминающим подобие короны, а ночью просто неузнаваемо волшебный!» – заметил про себя малыш.

У балкона вырастали длинные колонны, подымающие его в бессарабский жаркий вечер, словно вынуждая подсматривать за неспешными величественными прогулками принаряженных горожан и свиданиями вечно нетерпеливой юности.

Какая улица живая!
Наверно здесь живут цветные сны!
А он, еще не понимая,
заметил, что дома грустны,
как будто бури ожидая...

«Эта улица ДОСТОЕВСКАЯ в 20–30 годы была деловым центром портных, модельеров, аптекарей, парикмахеров и продавцов», – подсказал автор.

Местечковый «СИТИ-ЦЕНТР»!

Еще в послевоенные дни практически каждый дом жил со своим деловым направлением. Дома стояли впритирку, и ты только переходил от одной двери к другой, чтобы посетить магазин, пошивочное ателье.

ДОСТОЕВСКУЮ улицу снесли практически всю и навсегда разгладили ее на плоскости земли. Осталась в живых одна старушка-гостиница «Октябрь», которая до войны тоже выполняла функцию гостеприимства. В ней же с левого торца размещалось кафе-пивнушка, прозываемое в народе «Вертолет» из-за того, что там подолгу засиживались летчики, летавшие на пассажирских «кукурузниках» до столицы и обратно.

«Там, где обозначен человечек в шляпе, – заметил автор малышу, – была остановка автобуса № 10, который соединял центр города с новыми ШЕСТЫМ и ВОСЬМЫМ кварталами».

Наглядевшись, малыш двинулся по ДОСТОЕВСКОЙ. Слева, прилепившись друг к другу, выстраивался ряд ателье, магазинов, и среди них со своей облезлой дверью втиснулось даже общество служебного собаководства. Далее шли несколько домов до самой центральной городской улицы. Весь этот ряд обрывался у самой площади, у новопостроенного Главтелеграфа.

«В 50-х годах, на месте телеграфа, было земляное возвышение, засаженное цветами и клумбами, а посреди клумб, на небольшом пятачке, стояли по кругу четыре громадных щита, возвещавших о социалистическом соревновании четырех самых больших городов республики, – услышал малыш рассказ автора. – А далее, ближе к Дому пионеров, стоял небольшой центральный киоск «ГАЗЕТЫ – ТАБАК», прилегающий к площади.

У киоска стоял телеграфный столб с огромным репродуктором, разливающим на всю площадь новости и бравурную советскую музыку.

Продавщица газет-папирос была невысокого росточка, всегда в черном берете, темноволосая с проседью евреечка Клара, и почему-то с очень смугло-землистым лицом и с бесконечной беломориной в зубах. Она щурила от дыма один глаз и перекатывала папироску в своих железных зубах. Ибо настоящие ей повыбивали во время превентивных арестов еще в юные годы, до войны, за то, что была комсомолкой-подпольщицей, от которой власти могли ожидать политических демонстраций.

Она могла, не выпуская изо рта папироску и с абсолютно каменным выражением, выдавать товар, отсчитывать сдачу и вести с вами неспешную беседу о погоде, бешеных ценах на рынке и появившемся и тут же пропавшем дефиците. Говорила она, пыхтя папироской, красивым низким контральто: «Молодой человек, зачем вы курите? Это же вредно для вашего здоровья!»

И можете себе представить в тот момент выражение лица этого молодого человека!»

Малыш улыбнулся рассказу, остановился и посмотрел на открывшуюся панораму. Перед его глазами через улицу имени ВОЖДЯ возник центральный гастроном, а слева открылся уютный сквер, стыкующийся с площадью. Сначала он повернул по улице ВОЖДЯ направо и остановился, заметив красивый дом аптеки № 7, покрашенный зачем-то в кумачово-кирпичный цвет.

Стояла красная аптека вторым домом от угла улиц ДОСТОЕВСКОЙ и имени ВОЖДЯ. А в соседнем от аптеки в угловом доме был магазинчик «Радиотовары». Когда валили этот дом, то под отколовшейся штукатуркой проявились латинские буквы, которыми была написана фамилия владельца магазина галантерей. Слух моментально заманил поглазеть большое количество горожан на якобы обнаруженный досоветский магазин фамилии известного в городе художника. Представляете, что творилось с бедным художником?

«А вот почему аптека красная?» – спросил малыш.

«Да потому, что ее ежегодно на майские праздники красили в красно-кирпичный цвет. И совершенно непонятно зачем, когда она была сложена из красного кирпича», – услышал малыш голос автора.

Налюбовавшись окраской аптеки, малыш перешел улицу и двинулся к ГАСТРОНОМУ, за которым виднелся купол армянского собора и старый, наполовину деревянный, городской Дом культуры с каким-то текстом, призывающим кого-то идти вперед к какой-то победе над чем-то.

Малыш завороженно посмотрел на гастроном, на стенке которого висели громадные круглые уличные часы со стрелками остановившегося времени. Витрины гастронома ломились от фруктов, сластей и прочих мясных изделий. Сглотнув слюну, он отвернулся от витрины и увидел огромную желтую бочку с надписью «Квас».

У бочки сидела скучающая и вспотевшая тетка. Она веером разгоняла духоту, мух, пчел и ос, а поодаль от нее стоял, такой же, как он, мальчик с маленьким великом.

«Вот бы мне такой!» – воскликнул про себя малыш.

Очень жарко летом в центре бессарабского городка в безветренную погоду. Малыш достал монетку из своих коротких штанишек с двумя лямками, протянул ее тетке. Получив большой холодный бокал, он зажмурил глаза от удовольствия и залпом осушил. Пузырьки игристо-холодного напитка дружно облепили его нос и щеки, лицо оживилось и заиграла блаженная улыбка. Затем глаза его посмотрели вдаль и взлетели над просторной площадью. Он глубоко вдохнул жаркий полдень и, не выдержав, помчался что было сил навстречу...

Автор улыбнулся ему вслед и увидел, как на площади появились две огромные урчащие поливалки, радужно разливающие в пространство искрящуюся на солнце влагу.

Бегущий малыш сверкнул в этом извержении воды и словно испарился из виду. Поливалки достигли автора, и он, оказавшийся между ними и обливаемый двумя радугами, вдруг вспомнил об одном своем незабываемом впечатлении...

Встающее солнце на крышах
и влага ночного дождя,
и город виднеется в лужах,
и город в них будто застыл.
И словно бы слепки на память
тогда он нам всем разложил...

В конце площади, словно остров, возвышался, небольшой, старинный, очень компактный и красивый уголок города с уютным маленьким скввериком. За сквериком мерно гудел городской рынок, заполненный голосами и выкриками: «Живая рыба!», «Посторонись!», «Точим ножницы и ножи!», «Вечные иголки!», тонувший в горах фруктов и овощей, и где можно было прямо на рынке сфотографироваться «На долгую память!», засунув голову в специальное отверстие ширмы, на фоне несуразно диких гор, невероятно странного свойства и цвета. И ты – на фото, раскрашенном жутким анилином, получался с туповатой, слегка перепуганной улыбкой от окрика фотомастера, в огромной папахе и бурке, сидящим на некоем лошадоподобном животном!

Ну, просто прелесть какая – память о детстве! И текстом: «За детство счастливое наше – спасибо, родная страна!» – можно было бы смело подписывать все подобные фотографии.

На первом плане, справа, виднеется ограда Дворца пионеров, а слева – каменная старинная ограда центрального парка культуры и отдыха.

Автор вспоминал, как по выходным, на его центральной аллее было не протолкнуться. Чинно, с достоинством, принаряженные, парами, небольшими группами и семьями горожане, копируя променады южных приморских городов, прогуливались совершенно постепенно. У центрального входа продавали цветы и мороженое. В центре парка стояла расписная деревянная КАРУСЕЛЬ с лошадками и лебедями. Родители с нетерпеливыми детьми терпеливо стояли у карусели в долгих очередях.

И я так удивился, впервые с родителями посетив парк, что карусель крутилась за счет мускульной силы подростков.

Они крутили ее, находясь под нею, в полной пыли, которая подымалась от бегущих по кругу ребят, толкающих карусельный круглый пол. Но зато, открутив три круга, ты имел право бесплатно прокатиться «белым человеком» на красном коне.

С левой стороны центральной аллеи стояла деревянная пивнушка, угловые колонны которой были изваяны из огромных четырех белых сов с огромными застекленными глазами.

Почти у выхода из парка извергался небольшой фонтанчик, над которым вечно бодались два бетонных козла, выкрашенных белой краской.

Пройдя весь парк, вы оказывались у других ворот.

В 11 вечера парк закрывался, и всех посетителей выпроваживали.

Выйдя из ворот парка, вы оказывались у новой гостиницы «Октябрь» и больницы железнодорожника, которые стояли визави на ДОСТОЕВСКОЙ улице. Прямо от ворот парка начиналась улица Пионерская, уходящая в сторону городского озера. А когда этот парк в начале 1970-х выкорчевали и на его месте возвели здание с тремя классиками революционного переустройства мира на фронтоне, то детским парком стал называться другой, который существует и в настоящий момент.

Левая сторона этого квартальчика, являвшегося частью улицы Горького, начиналась угловым зданием – старым центральным универмагом. Старый универмаг еще довоенного формата, забитый всякой всячиной от пола до потолка, с трудом вмещал всех желающих поглазеть на мир, да себя показать...

...И лишь только одинокий тайный службист двигался в другую сторону от своего народа...

Этот двухэтажный дом когда-то стыковался с другим двухэтажным, который был снесен еще в конце 50-х. В том снесенном доме, стоящем на углу улиц Ленина и Горького, располагался центральный универмаг. И когда его снесли, то на том месте прописалась обыкновенная цветочная клумба.

Правая сторона квартальчика начиналась с углового дома, в котором на первом этаже был знаменитый 30-й магазин. Далее следовали: «Ткани», «Мебель», «Электротовары» и заканчивался он пересечением с улицей СВОБОДЫ.

Этот самый центр города, выстроенный в стиле MODERN, где проживали большие магазины с ювелирными украшениями, радиоаппаратурой, фототоварами, дорогими сигарами и изящной галантереей, навсегда очаровал малыша. Здесь же стоял главный кинотеатр и прелестный драмтеатр с архитектурой вполне европейского стиля. Пойти в театр считалось высшим шиком!

О тех, кто был замечен на спектакле, потом весь город говорил:

– Это вам не на базаре стоять!

На улице ВОЖДЯ, за этими весьма замечательными сдво-

енными двухэтажными домами стоял главный кинотеатр имени КОМДИВА, с которым вплотную прожил красавец старый драмтеатр с колоннами и очень уютным овальным холлом. На левой боковой стороне дома была дверь, на которой висела табличка «Комната матери и ребенка».

В этой комнате родители оставляли служащим своих малышей, чтобы сами смогли посетить киносеанс. Перед сеансом, в отдельном зале, прелестный оркестрик давал маленькие концерты. Скрипка, аккордеон и барабанчики! А за барабанчиками – упитанная невозмутимая дама с абсолютно безразличным голубым взглядом.

А какой был в этом же двухэтажном доме магазин «Книги»!

Там по знакомству можно было купить практически любое дефицитное издание. Позже книги вывезут и заполнят помещение буфетом со столиками и стульями, соками, водами, пирожными и конфетами. Сколько осчастливленного детства входило туда, и сколько невинных слез было пролито у тех, кого с трудом и покрикиванием волокли мимо запахов сладкого счастья!

Напротив этих зданий стоял и заманивал к себе зевак, прохожих и гуляющих, очень маленький, уютный и прелестный скверик – уголок отдыха треугольной формы – со скамейками, цветниками и нежно-душистой сиренью.

Ах, этот скверик с павильончиком «поговорить-выпить-перекусить» – вечное место отдыха и встреч деловых и любовных, свиданий и встреч, вздохов и разлук…

– И кому, вы мне скажите, помешал этот красивый квартал? – грустно вздохнул автор, поглядывая на восхищенного малыша, который, еще не догадываясь о будущем его исчезновении, беззаботно ходил и беззаветно влюблялся в свой центр.

Если с площади повернуть по ГОРЬКОГО направо, то можно выйти к улице СВОБОДЫ и к нижней части рынка. Напротив этих домов с несколькими магазинами, рядом с центральным входом в парк, размещался двор пожарки с невысокой деревянной каланчей. Удивительно, но эту каланчу трудно было увидеть из-за выросших огромных деревьев. Да и на каланче как-то никто в дозоре не стоял. Чтобы увидеть дым от пожара, надо было либо пилить деревья, либо строить новую. Пока раздумывали – снесли каланчу. А пожарку приютили в каком-то другом дворе.

А вот и уголок улицы СВОБОДЫ.

Эти дома когда-то стояли рядом с воротами рынка, напротив маленького завода коммунального оборудования.

Улица СВОБОДЫ!

Забавно и странно было читать это название, приколоченное на домах, когда никакими свободами, кроме обязанностей и долга, простой человек попросту не обладал…

«Облада, облади, та та та таааааааааа! та тататататa та!» – вдруг понеслось из пространства какого-то освещенного окна, и малышу казалось невероятным слушать на СВОБОДЕ музыку другой свободы….

Пройдя по ГОРЬКОГО и свернув на СВОБОДУ к задней части рынка, малыш остановился. Долго и с удивлением смотрел на громадный двухэтажный неказистый дом, и не мог понять – что случилось с его угловым балконом. Место над угловой дверью зияло какими-то тяжелыми кусками рельс, на которых когда-то жил себе балкончик, да сплыл. Угловая балконная дверь была замурована накрепко и неаккуратно.

Проживал этот неуклюжий дом впритирку с воротами рынка. На первом его этаже было несколько хозяйственных магазинчиков: посуда, электроприборы, химия в быту и т.п. Долгие годы на углу этого дома отсутствовал угловой балкон. Было такое ощущение, что его никогда и не было. Куда и когда он исчез – неизвестно. И лишь мощные опорные рельсы, торчащие из стены, выдавали некогда его присутствие.

«И балконы, как птицы, умеют переживать чувство полета», – подумал малыш. А если долго жить на балконе, то иногда забываешь, как надо ходить по земле. «Может, просто он улетел», – утешал он себя. Он повернулся на другую сторону улицы СВОБОДЫ и обомлел! От него, в противоположную сторону, почти взлетая к облакам, медленно, с зонтиком, как с летательным аппаратом, шла юная дева….

Гуляющая дева с зонтиком в те далекие годы для автора была неким символом свободы и независимости. Да и само название улицы давало богатую пищу для воображения.

«Да! Теперь я понял, почему улица так называется, – воскликнул про себя малыш. – На ней свободны только те, кто ни к чему не привязан! Балкон, не привязанный к рельсам, – улетел! Юная дева, ни к кому не привязанная – тоже свободна».

Грязноват, пылен и облуплен местами наш городок. А в дождливые долгие осенние дни просто устаешь мыть и чистить обувь да штаны!

Автору часто тогда мечталось и грезилось, что если хорошенько вычистить, да как следует отремонтировать и тщательно выкрасить… Ах, если бы!

И каким великолепным и неповторимым мог быть наш город!

«А что если действительно всем вместе собраться и отремонтировать, да помыть его, да покрасить – что получится?» – Малыш улыбнулся своим мыслям, ладонями прикрыл глаза, окунулся в фантастическую с радужностью темноту своих глаз и стал считать до десяти. «А вдруг он, пока мои глаза закрыты, просто исчезнет?» – испугался он и быстро разомкнул веки.

Побродив по нижней части центра, по останкам улицы ГОРЬКОГО, которая в городе располагалась фрагментарным полукольцом от Дворца пионеров и до роддома и стадиона, и огибала нижнюю часть парка, малыш остановился. Перед ним стояли сгрудившиеся и встревоженные дома. В некоторых из них явно отсутствовали признаки жизни.

«Куда же люди подевались», – подумал он, и вдруг, непонятно откуда, послышалось:

В пыль детства пряталась жара,
грязь источала холод.
Полуфронтоны на домах
обозначали входы.
И кисли варевом дворы,
а из просевших окон
звучала музыка навзрыд
про чей-то нежный локон.
В том городе я много лет
подкрашивал сюжеты...
Вот в этом доме жил Поэт,
на смерть писал сонеты.
Напротив, в доме без окон,
за беззащитной дверью,
творил Художник свой закон
о доброте и вере.
А в переулке у пивной,
где был когда-то скверик,
любовь крутили в выходной
провинциально верно.
Висели в городе часы
с одной минутной стрелкой,
дряхлело время чистоты,
и жизнь казалась мелкой...
Давно в том городе нас нет,
разъехались по свету...
Прости меня, мой город-свет,
светивший безответно.

Малыш вслушивался в доносящийся текст и разглядывал эти опустевшие дома и одинокого кота, лежащего на крыше. Затем медленно двинулся обратно к центру, в сторону улицы СВОБОДЫ.

Неожиданно малыш понял, что не ощущает присутствия автора. Где же он затерялся?

У нижней части рынка люди сновали со своими «купи-продай» проблемами. В стороне от снующих горожан он вдруг заметил курящего автора, беседующего с необычным стариком. Странность старика, одетого в черный поношенный костюм, выдавалась в том, что он курил, а в руке держал очень красивую серебряную пепельницу с крышкой. Подойдя к ним, малыш прислушался.

– Как-то странно видеть вас с пепельницей на улице, – говорил автор старику.

– Ничего странного, сударь, – ответил старик. – Я не могу бросать окурки на эти дорогие мне с детства улицы, которые подметал всю свою жизнь. Надеюсь, милейший, я вас не обескуражил своим ответом?

– Что вы, что вы! Жаль, что ваш уникальный поступок никто более не подхватывает, – сказал автор, держа в руке свой окурок. – А разрешите мне воспользоваться вашей пепельницей? Вокруг, к сожалению, нет ни одной урны.

Старик протянул пепельницу, автор уронил в нее окурок, старик захлопнул крышку, галантно откланялся и ... и неожиданно исчез, словно и не был.

«Как Хоттабыч какой-то», – удивился малыш.

Он внимательно посмотрел на автора и двинулся далее по улице СВОБОДЫ.

Остановился у выбеленного грустного дома.

«Почему он так грустит, – чуть ли не вслух спросил малыш. – Кого же он потерял?»

Этот очень трогательный дом всегда покорял автора своей простотой и какой-то изнутри сквозящей духовностью. И каждый раз его останавливала эта его небольшая выбеленная стена с входом, тянущимся к небу. На заборе дома всегда клеили объявления и театральные афиши.

Однажды автор увидел свежую афишу: «Солдатская вдова». И тогда он понял, за что ему так нравился этот дом. Это же вдовий дом! Что-то было в нем такое, бесконечно трогательное, невысказанное, именно горестно-вдовье. И не зря по ассоциации он им воспринимался живым, с некой глубоко потаенной храмовой душой.

Малыш снова вышел на площадь, и еще долго любовался этими навсегда прижавшимися разновысотными двухэтажными зданиями. Погуляв по площади, он увидел одиноко бредущего куда-то то ли сумасшедшего, то ли поэта.

Сколько было в нашем городе таких способных и талантливых, чудаковатых и надменных, смешных и серьезных, которым никогда не суждено было «дорасти» до местных поэтических «марфинско-храмовых» высот.

Поэт едва слышно читал самому себе:

Вы украли у солнца ломоть,
души вы растоптали в снегах,
вам бы жалом холодным колоть,
чтоб вокруг — холода, холода...
Что вам — сердце разбить на ветру?
Что вам — ночь растянуть навсегда?
Может быть я еще поживу?
Но вокруг — холода, холода...

За городским театром, вернее – между театром и шестой школой стояли интересные старинные каменные хозяйственные постройки. За постройками в центре двора проживало очень красивое здание, которое было выстроено в мавританском стиле, как и здание банка, стоящего на ЛЕНИНГРАДСКОЙ, рядом с паспортным столом. Этот двор с XIX века прозывался армянским подворьем.

Затем, пройдя по ТЕАТРАЛЬНОЙ улице мимо шестой школы и задворок драмтеатра, малыш оказался на ЛЕНИНГРАДСКОЙ, у магазинов «Овощи-фрукты», с сильным запахом слегка подгнивших и скукоженно-тоскливых овощей, и знаменитого «Пиво-воды».

И повела его, как понесла, ЛЕНИНРАДСКАЯ улица мимо своих домов, невольно вынуждая постоянно останавливаться и всматриваться в каждый изгиб фронтонов, пилястр, колонн и полуколонн, разнообразных старых покосившихся дверей и балкончиков с отсутствующими деталями декора. Он шел мимо бывшего старинного банка, мимо дома с паспортным столом, мимо двухэтажного здания, в котором соседство отдела милиции и поликлиники вызывало определенные чувства комфорта. В его глазах проплывали одноэтажный красавец-дом старой центральной почты с неистребимым и вкусным запахом сургуча, магазин школьной книги с нелепыми высокими и тонкими колоннами и высокими малоудобными ступенями, маленький домик-магазин «Хлеб», здание второй вечерней школы.

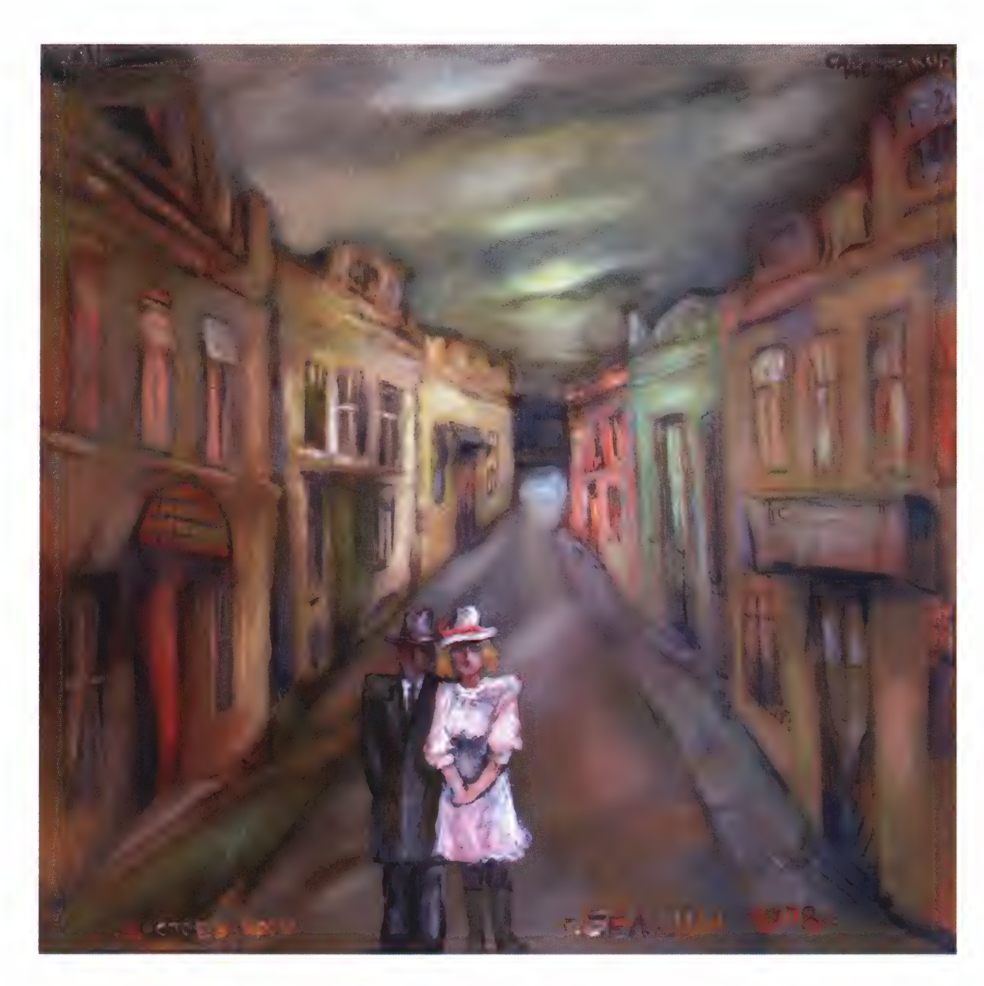
На перекрестке он свернул на ХОТИНСКУЮ улицу.

Притомившийся малыш медленно шел по милой и кроткой ХОТИНСКОЙ. Очаровывался домиками, у которых двери со ступенями спускались прямо на тротуар. Он не выдержал и присел на теплые каменные ступени, по которым прогуливалось несколько божьих коровок.



Над этой дверью букиниста виден удлиненный стильный балкон...

У балкона вырастали длинные колонны, подымающие его в бессарабский жаркий вечер.



Какая улица живая! Наверно здесь живут цветные сны!



...Прилепившись друг к другу, выстраивался ряд ателье, магазинов, и среди них со своей облезлой дверью втиснулось даже общество служебного собаководства.



Стояла красная аптека вторым домом от угла улиц Достоевского и имени Вождя.

...Он отвернулся от витрины и увидел огромную желтую бочку с надписью КВАС.



В конце площади, словно остров, возвышался, небольшой, старинный, очень компактный и красивый уголок города...



Старый универмаг еще довоенного формата...



**Этот самый центр города,
выстроенный в стиле MODERN...**

**...Главный кинотеатр имени комдива,
с которым вплотную прожил красавец старый драмтеатр...**



А вот и уголок улицы СВОБОДЫ.



Угловая балконная дверь была замурована накрепко и неаккуратно.



...Почти взлетая к облакам, медленно, с зонтиком, как с летательным аппаратом, шла юная дева....



И каким великолепным и неповторимым мог быть наш город!



Перед ним стояли сгрудившиеся и встревоженные дома.



На заборе дома всегда клеили объявления и театральные афиши.



Малыш снова вышел на площадь, и еще долго любовался этими навсегда прижавшимися разновысотными двухэтажными зданиями.



Поэт едва слышно читал самому себе...



Этот двор с XIX века прозывался Армянским подворьем...

И повела его, как понесла, Ленинградская улица...



...И увидел у худфонда
двух друзей по искусству
и судьбе.

...Образ вечной девочки, ждущей свое не пришедшее счастье.



А может это город-мираж?



Перед ним стояли два покинутых дома, постаревших, но влюбленных друг в друга...



Сколько же малышей через пространство этого дома приходили в наш город...



**...У одиночества –
ни знака, ни судьбы...**

**Но все меньше оставалось
жителей, помнящих эти
дома и особняки.**



...Бывало, столкнешься на улочках города с тем, кто на тачке везет неизвестно что...



За фасадами жили люди, и еще, вероятно, до сих пор живут...

...Городок детства
предстал перед ним
в ночь беззвездья...



А в этой паузе наименование
времени уже не имело
никакого значения.

Погладил плиты ступеней, отшлифованные годами обувью, нехотя встал и так же медленно двинулся по своему маршруту познания.

Затем остановился и увидел у худфонда автора и двух его друзей по искусству и судьбе. Они стояли, озираясь по сторонам, чтобы вообще понять, в какую сторону им себя направить...

Автор смотрел на малыша, разглядывающего город и прохожих, смотрел и думал: «Вот стоит еще наш городок, живут улицы, по ним еще ходят очень много друзей и знакомых. Пока еще можно запросто встретить и встретиться с кем угодно. Еще есть с кем посидеть на кухне и поговорить «за жизнь». Еще есть с кем поделиться, отсыпав друзьям горсть своих бед и проблем. Еще прогуливается по площади известный дирижер детского хора со своей очень напомаженной и самодовольной женой. Еще ходит по городу писатель с сумкой, заполненной ножницами, баночкой канцелярского клея да рукописями, которые во времени и пространстве вырастали и склеивались в никому не нужные рулоны рассказов и повестей! Еще стоит поэт на углу площади и всем показывает на плакат, на котором движение развевающегося флага не совпадает с указующим перстом вождя! В другой руке у поэта – портфель, набитый носками, наволочкой и простыней на случай легкого ареста!

Еще стоит художник на автобусной остановке, рисуя портретные наброски горожан, нагруженных располневшими авоськами от картошки и овощей! Еще есть счастливая возможность взрослеть и медленно стареть в кругу своих бесчисленных друзей и до боли знакомых и любимых улочек и домов!

Но что же такое в мире случилось, и откуда могло задуть таким жутким смертельным ураганом, после которого вскоре не останется и следа от того давно сложившегося прелестного городского центра? Это какой силы должен был произойти взрыв, чтобы вырвало с корнем не только фрагменты улиц, группы и кварталы домов, но чтобы вместе с этой городской катастрофой навсегда исчез из города и определенный слой населения, без которого ему, повзрослевшему малышу, жить станет просто тоскливо, а потом и невозможно.

Мысли его путались между реальностью и смутными знаниями наступающего будущего.

А может катастрофа уже произошла, а ему достался лишь великолепный, в полную и неотразимую силу город-мираж?

В это время малыш пристально вглядывался в странную деревянную конструкцию, напоминающую декорацию ковбойских фильмов, павильон «Шашлычная», от которого веяло какой-то призрачностью и недолговечностью...

Затем он перевел взгляд на соседний грустный дом, в котором некогда проживал студент Гриня, который давно отсидел за желание покинуть страну, и все же, как очень многие, укатил навсегда, оставив малышу образ ВЕЧНОЙ ДЕВОЧКИ, ждущей свое не пришедшее счастье.

Сюжет на улице Хотинской.
И смыслом в общем, небогатый.
Там за окном поет Вертинский.
А тут она все ждет солдата.

«А может это город-мираж?» – не успокаивался автор. Хотя вон еще ходят люди по мостовой, чего-то искоса поглядывая друг на друга, то ли от любопытства, а возможно от острой любовной недостаточности...

А тем временем малыш дошел улицы ГЕРОЯ ГРИГОРИЯ. Перед ним стояли два покинутых дома, постаревших, но влюбленных друг в друга, с потускневшими окнами, и с перекошенными дверями, из которых уже никогда не будут входить-выходить их прежние хозяева. Их запыленные окна, словно потухшие глазницы еще упирались в проходную номерного завода. Семьи выехали навсегда, дома осиротели и остались ждать разрушения.

Тут совершенно неожиданно вывернула с улицы НИКОЛАЕВА телега, за которой подпрыгивала ватага мальчишек. Тощая лошаденка, с шорами на морде, не шла, а едва плелась. Иногда возница-старьевщик кнутом отмахивался от самых настырных, и, вместе с тем, громко выкрикивал: «Тряпки! Кости! Железо!»

А вслед телеге неслось:

– Дядя, дай шарик со свистулькой! Ну, дай шарик!

Старьевщик с морщинистым и небритым лицом и какой-то виды видавшей кацавейке, вертя воздух кнутом, и крича им в ответ:

– Нет у меня шариков! Сегодня только синька! – резко саданул лошаденку. Она рванула, телега быстро покатила, подымая пыль и увлекая за собой ватагу. Малыш с улыбкой проводил их убывающий шум голосов.

Размышляя о влюбленных и опустевших домах, автор вспомнил, как, проходя мимо роддома, у него блеснул тогда странный вопрос: «Сколько же малышей через пространство этого дома приходили в наш ГОРОД, вырастали, влюблялись и разлетались по миру, почему-то не находя в нем себе места».

Иногда забавные мысли могут посещать голову автора, проходящего мимо обыкновенного роддома: «Какими математическими формулами-интегралами и всяческими теоремами кому-либо дано вычислить появление нового, пока еще безымянного человеческого существа, в определенное время, именно в конкретной точке нашего шарика...

Кто может угадать или определить в маленьком, только что рожденном тельце, способности, талант или гениальность, вписанные ему в его глубинную, практически неосязаемую, ткань, которые лишь ждут часа своего проявления...

Кто вы, да и откуда, новоявленные маленькие принцы, решившие родиться и поселиться среди нас – таких же маленьких принцев, взрослеющих и постаревших, но так пока ничего толком о себе не понявших...

У одиночества –
ни знака, ни судьбы.
Настигшего оно определяет
предчувствием плахи
на глазах толпы,
предвестьем смерти
на излете мая...

– бормотал стихи грустный поэт, завернувшись в старый плащ и нахлобучив шляпу на глаза.

Малыш проводил поэта, запахнутого в плащ, внимательным и словно все понимающим взглядом.

Одиночество гонит меня
от порога к порогу,
есть товарищи у меня —
слава Богу!

Эти известные стихи были для автора своеобразным гимном в противостоянии безысходности и грусти по уходящим на глазах центру города и людям, там проживавшим.

Автор собирал свой город как умел.

Частично им самим что-то было отснято, ну а остальные снимки просто сами к нему пришли. Иногда натыкался на них в старых семейных альбомах, выпрашивая у пожилых людей и расспрашивая у них подробности истории улиц и домов.

Но все меньше оставалось жителей, помнящих эти дома и особняки.

Однажды он показал несколько фотоснимков городского центра 1920–1940-х годов одному ну очень на вид интеллигентному старому еврею, часто безмолвно сидевшему в одиночестве на лавочке центрального сквера.

И вы бы видели, как заблестели глаза его слезой воспоминаний:

– Ах! Здесь был, я вам скажу, такой шикарный магазин... чтоб вы видели, какие там были английские и французские шляпы!!!

– А это? Ну, так это был, чтоб вы знали, особняк господина... Он в сороковом в Румынию сбежал без семьи, а семью потом...

– А тут... Эх, молодой человек... в этой гостинице, даже как-то неудобно произносить такое слово, на последнем этаже был... как бы вам сказать... очень приличный бордель... Чего вы на меня улыбаетесь! Я вам говорю – чистый и приличный...

– А тут...

Старик задумался, виновато улыбнулся в пространство, замолчал и, отстранившись, погрузился во что-то свое запредельное...

«...Кто смог бы разгадать тайну возникновения места обитания и появления людей в одно время, в одном пространстве, в одном городе, – не раз размышлял автор в своем одиночестве. – Кто мог бы взять на себя смелость и описать хотя бы один час жизни города со всеми его жителями. Правда, слабо?»

Ну, а тогда что путного можно сказать вообще о правдоподобности давно прошедших событий и точности исторической науки?

А о полной истории города?

Или хотя бы, к примеру, историю судьбы одного человека, когда сам он, уверен, не только не вспомнит свою недавно состоявшуюся событийность, но, что еще парадоксальнее, вряд ли сможет описать подробное поведение самого себя, пусть даже в течение суток!

«Нет-нет, да, бывало, столкнешься на улочках города с тем, кто на тачке везет неизвестно что, и идет вместе с ней неизвестно зачем и неизвестно куда», – подумал автор, глядя на человека, бредущего по улице с тяжело груженной тачкой непонятного груза.

«Жизнь, – продолжал размышлять автор, – каждого субъекта, овеществленного и одухотворенного великой энергией, состоит из мельчайших, порой незаметных деталей, подобных самым мельчайшим элементарным молекулярным частицам – «лептонам». И подлежит она фантастически быстрому стиранию из памяти...»

Но автора чаще всего мучила проблема причин и начал...

...Что же было в начале?

Ах, да – слово. А что было до слова? Дословно, что было до слова, как оказалось, не знает никто. Не пишет никто. Никто и не помнит.

А что было после?

А после – в последствии – нам Его Явленье.

А что было в промежутке меж Словом и Явленьем?

Возможно, было некое Межвременье...

А что происходило в этой грандиозной межвременной паузе, в ее начале, в середине, в конце?

А может быть, именно в паузе и происходит то великое таинство зачатья и рождения, жизни и смерти...

Мысли его роились, множились, перетекали, наплывали, исчезали, за которыми как вагоны или бегущие облака стелились и нагромождались следующие.

«И тогда, наверное, – думал он, – теряется-растворяется и сама грань между бодрствованием и сновиденьем, ибо мысли и во сне не покидают нас...»

Сидел он так, беседуя с самим собой, все глубже проваливаясь в толщу стула и стола. И даже не проваливаясь, а как бы врастая своею плотью в нематериальную плоть предметов...

Беседа постепенно утомляла его, и глаза медленно плыли к потолку, на котором зияла большая и глубокая выщерблина-впадина отвалившегося бетонного слоя от потопа, некогда случившегося этажом выше.

Позже он, не умея, да и не особенно желая заделать широкую и довольно глубокую дыру, раскрасил ее радужными масляными красками. Получился проем с неким пространством цвета, ставший своеобразным медитативным пятном и который обозначился для него живописно-визуальным входом туда, где грезы и сны получали свои материализованные воплощения.

И вот створ его взгляда полностью совпал с параметром входа туда...

...Все уже жило-было к моменту его очередного возвращения в город.

И все было предопределено в тот «год змеи», ставший годом великого землетрясенья. И стояло время, соответствующее этому ползучему существу, вползающему ниоткуда и вытекающему в никуда. Подобное состояние времени вполне соответствовало беспредельной, никем не занятой музыке его души...

День никак не смеркался, и все стоял утомленный, чего-то выжидая, за каким-то кривым забором на улице СВОБОДЫ с полуободранной афишей спектакля «Солдатская вдова». Между западом и востоком, словно радуга, повис-

ла прекрасная пауза. А в этой паузе наименование времени уже не имело никакого значения. И, закрадывалось некое сакральное знание, что это был день без вторника, или вообще день без дня...

...В этот же день без дня и числа, после все же состоявшихся запоздавших сумерек, и явился ему его город...

То ли из живописных снов и сотканных картин, а возможно из паутины памяти и скверных блекло-желтых снимков, где городские дома, без необходимой им трехмерности, стоят одними фасадами в жидкорастоптанной грязи, утопая в кряжистых акациях, искореженных временем и беспощадной старостью.

За фасадами жили люди и еще, вероятно, до сих пор живут, но уже в своем ином двумерно-ирреальном фотографическом пространстве. А дальше, то есть, вглядываясь в плоскую глубь фотоснимков – ни времени, ни пространства. А есть обыкновенные, до боли знакомые, вневременные дали, уплывающие в живописную ткань непространственного времени.

...Городок детства предстал перед ним в ночь беззвездья, в ночь, когда ничто не мешало его зачатью в этой проклеенной густой бессарабской черноземной грязи, в распутицу перезрелой осени и жидкого месива грусти и павшей листвы. Глухую тишину зорко стерегла и освещала предзимняя луна...

И вот оживившееся небо опрокинулось телом сырого тяжелого облака, земля томно и нежно вздохнула и просела-отяжелела плотным грудным туманом, и запотела и затрепетала в любовном ожидании подмятая трава...

Позже во сне автор все мучился припомнить место своего наблюдения: «Где и когда произошло оно, это таинство зачатия места обетования? Наяву ли, в межвременье иного пространства, а может в ином межпространственном времени? И кто вообще знает природу многомерности пространства и времени... Неужто сплю», – зашевелился он, вставая и, вяло разглядывая маленькие мрачноватые невзрачные картинки-холстинки, висевшие в его однокомнатном неустроенном быту, чем-то похожие на выцветшие и потускневшие снимки из его архива, и служившие заслонками настенных трещин...

И в который раз он шел по своему родному городу, останавливался и разглядывал великолепные двух-трехэтажные старые дома, осыпающиеся от полной неухоженности и ЖЭКовской беспризорности.

Всю вторую половину 1970-х ГОРОД, как и вся страна, жил в ожидании больших предолимпийских событий в столице. И вроде бы что-то должны были с городом делать: прихорошить его, почистить, навести блеск после капремонта, так как через ГОРОД обязана была пройти олимпийская трасса с негасимым огнем.

Эта вторая половина 70-х была для автора творческо-духовно-запойной. Он любил свой город и все его старые дома, большие и малые, красивые и не очень, с фронтонами и без, с колоннами и занимательной геральдикой, местами наглухо затертой жэковскими красками, с разнообразными дверьми и входами, выступающими прямо на тротуары. Для него все они были равноправными и равнозначными по историческим и эстетическим меркам.

Он просто не успевал все фиксировать и переносить в свою и иную плоскостную память. А этот процесс всегда был для него тайной. Порой натурная информация могла подолгу не реализовываться. Никогда он не знал исхода от борьбы своей энергетики и энергетики информации. А потому, чтобы успеть, хотя бы как-то, зафиксировать еще уцелевшее, брал свой «аппарат» и вместе со своим другом «отщелкивал» город.

Друг частенько был тем защитным экраном, закрывавшим его от всевидящего глаза мильцанера в момент фиксации объекта. Потому что видеть в те времена горожанина, зачем-то наводящего объектив на старые, порой неказистые дома, казалось довольно абсурдным, весьма сомнительным и небезопасным процессом.

Жители города ждали обещанного ремонта жизни своей, но, как не раз бывало, стали ремонтировать не стены и крыши домов, а подкорку человеческой памяти. В подкорку населения внедрялась необходимость сноса старого городского центра для организации огромной и безликой праздно-пустой площади.

Как долго и мучительно валили драмтеатр – одно из самых красивых зданий города. Брали его «бабой копрой», но, в конце концов, взяли его взрывом. А до того его закрыли, сообщив горожанам, что здание находится в аварийном состоянии...

А разрушил-то историко-архитектурное лицо нашей малой родины детства – генплан по развалу центра города, которым руководил наш земляк-архитектор Шойхет. Какая злая ирония таилась в названии его фамилии!

Как-то автор публично спросил его о содеянном. Удивленный вопросом, резчик города ничего ему не ответил. Может он еще там, в том прошлом своем проживает. Может, не ведал, что творил, а может – служил...

Никто не знает, всем давно уже ДО...

«...Но может, город уже давно разрушен и не существует? И стоит себе в инфернальном небытии, – не отступали мысли автора. Но он же явился мне! Или вижу наполовину разрушенный его мираж, напоминающий овеществленную паузу. А, возможно, был он чем-то, кем-то спровоцирован и спроецирован на плоскость земную своими мириадами молекул бытия для нас, живущих на другой стороне ее спирали.

Спираль бытия?

Но тогда в каком ее изгибе мы существуем?..»

(Окончание на стр. 80)



КАК НАЧИНАЛАСЬ ВОЙНА

Людмила
ЛУКЬЯНЧЕНКО

Из семьи военного. По окончании Московского авиационного института с дипломом инженера-экономиста была направлена на работу в систему Министерства обороны СССР в г. Севастополь. Затем – работа в Кишиневе: Госплан, Госкомстат, Госстрой, Институт экономики АН МССР, Политехнический институт им. С.Лазо. Кандидат экономических наук, доцент. Член Союза народных мастеров Молдовы.

22-го июня
Ровно в 4 часа
Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началася война...

Эта песня – навсегда про нас... И всегда от нее и от самой этой даты – всполох памяти...

22-е июня 1941 года... Для киевлян (и не только) эти 2 события – бомбежка и официальное извещение власти о начале войны – были разорваны во времени. От бомбежки, от разрыва бомб мы проснулись мгновенно. Не помню, что прозвучало «тут же» по радио то, что позже звучало неоднократно, и все чаще, все тревожнее: «Увага! Увага! Говорыть Кыйив!»

Помню лишь, что мы выскочили на балкон – смотреть! Мы маленькие, я с младшей сестренкой, – встали на высокий порожек и тянули шейки, чтоб лучше видеть!.. как бомбят Чоколовку, отцовский аэродром... Позже узнали, что там горели пустые ангары...

Что? Фашисты не знали, что нет «на месте» авиаэскадрильи? Той самой, «Отдельной», № 46, что была «при Днепровской флотилии на правах авиационного полка». Она к тому времени уже была «передислоцирована» в район Пинских болот, то есть с Украины в Белоруссию... Так что и не могла участвовать в защите неба над Киевом...

Итак, бомбежка! Мы на балконе! Трепещем и – таращим глаза!

Родителей с нами не было. Отец – в Белоруссии. Мама, хоть и в Киеве, но в госпитале – с воспалением легких. С нами мамин братишка-подросток и тетя Наташа, опекавшая нас и... вдруг быстро погнавшая нас с балкона... («Гэть видсилля! Швыдко!»). Все поняли: это всерьез!

Так начинался тот воскресный день.

В то время в Москве жили две маминых сестры: Маруся – замужняя, работала на авиазаводе после окончания в 1940 году МАИ, и Раечка – самая младшая из сестер. Ей – 18. Она только что окончила 1-й курс Мукомольно-элеваторного техникума. Обе встревожились: дети Нади и братишка в Киеве – одни! Решили: надо их спасать! Поедет Раечка. Поедет, если связь с Киевом еще не прервалась!

Вместе с мужем Марии они – срочно – на Киевский вокзал! Обрадовались: поезда на Киев еще ходят! Купили билет. Тетя Маруся сдернула с себя шерстяную кофточку, одела на Раечку – утеплила ее, сунула ей в руки паспорт, билет, деньги, посадила в поезд: «Езжай! Привози!»

И вот Раечка – нам, как снег на голову, – в Киеве! С нами! Собрала кое-какие вещи, упаковала, купила с боем (!) билеты. А за эти 2 дня налеты только усилились. По тревоге и по приказу все бежали в бомбоубежище (как было велено в Авиагородке, где мы жили, – в подвал Дома штаба... Не подготовленный... Потом мы бегать перестали: слишком тяжело взрослым с нами, да и без толку).

Поезд на Москву взят тоже «с боем». О, видели бы, что это значит! Затащили нас, детей, в купе, засунули на полки. Приказали молчать, пить-есть не просить, пока не дадут. Вещи засунуты тоже. Нас четверо. А в купе набилось еще больше. Вещами, людьми всех возрастов оказались забиты и купе (сверху до низу!), и коридор... На вещах сидели, по ним ходили, таскали нас, детей, в туалет, перешагивали друг через друга...

Позже были, видела я, киноленты с кадрами про поезда с эвакуированными... Про то, как при бомбежках поезд останавливался, и как люди выскакивали из вагонов, чтоб спрятаться в придорожных посадках, кустах, канавах... Затем снова – в поезд, в путь – спасаясь от вой-

ны. Но никогда не показывали таких – буквально забитых людьми и вещами – купе и коридоров, которые я тогда видела! Врезались они мне в память.

Нас в начале пути бомбили, но... не попали. Проскочили мы, значит. Наконец-то подъехали к Москве. А там – объявляют во всеуслышание, что все поезда следуют дальше, транзитом, минуя Москву, что в сам город впускают только москвичей... Вокзал оцеплен.

Помню: нас не впускали. Раечка требовала, кричала, что она детей, спасая, привезла! Помог и Раечкин паспорт москвички. Поэтому нас все же впустили... Хорошо и то, что ее братишка был невысокого росточка... Она просила его еще и пригибаться, чтоб казался меньше. А на площади перед вокзалом и вовсе – велела ему присесть, обложила вещами, чтоб сошел за маленького... Нас – на вещи, и пошла раздобывать машину, такси, чтоб привезти нас домой – на Семеновскую заставу...

Вот так мы через несколько дней после начала войны были доставлены в Москву, оказались спасенными. Раечка, 18-летняя Раечка, нас вывезла из Киева!

А вскоре оттуда, из Москвы, нас всех, в том числе и обеих дочек тети Маруси, отвезли в деревню к дальним родственникам, что жили в Калининской (ныне снова Тверской) области. Уже уехав из деревни, мы узнали, что она оказалась оккупированной... (Ведь фашисты пытались взять Москву в клещи... Нас, выходит, вовремя забрали оттуда...). Узнали и то, что наши родственники, бабушка с дедушкой и внучкой, погибли, угорели. Перед сном слишком рано закрыли печную вьюшку. Такая вот беда...

Тем временем – бомбили и Москву. Шла спешная эвакуация многих заводов. И тут московские власти решили начать срочно вывозить из столицы женщин и детей. Именно поэтому забрали нас из деревни, погрузили на Казанском вокзале в товарняк – в состав из теплушек (их раньше использовали для перевозки крупного рогатого скота). В теплушках было сено. Нас было теперь уже 7 человек. Мы забрались, помню, в правый дальний угол вагона. В вагон набилось много семей. У одной женщины было... аж семеро детей! Все – мал мала меньше. А сама – с огромным животом! Я впервые увидела «такое» и много позже узнала, что это значит. И была она очень веселой, огненно рыжей, в конопушках – даже на руках. И дети были такими же рыжими. Прямо как в песне: «Папа рыжий, мама рыжий, рыжий я сам...»

Маршрут у нас был «Москва – Уфа». Башкирия. И ехали мы очень-очень медленно. С долгими остановками на станциях, на перегонах, перед семафорами. Мыли-купали нас в дороге под водокачками. И очень нужны были те водокачки – для заправки котлов паровозов. Время от времени на стоянках подходила врач (была, значит, для состава организована и забота о здоровье, особенно о детском) и спрашивала:

– Нет ли в вагоне заболевших? – давала советы, что делать, чтоб не заболеть «животом». Очень просила почаще мыть руки. А это все проблемы! Как и с едой, с водой... Заболел сынишка той рыжей, но она «не выдала» – чтоб не разлучили. Никто тоже не выдал ее.

Иногда нам, детям, разрешалось приблизиться к «двери» – к огромному распахнутому день и ночь проему, перегороженному поперек толстым брусом. Тем, кто был постарше, позволялось время от времени посидеть в проеме, свесив ножки. Вот кому блаженство перепадало – ножками поболтать, обдуться ветерком.

Вот так мы и ехали на Восток, пропуская поезда, спешившие на Запад, в сторону фронта.

Позже, уже повзрослев, осознали масштабы происходившего тогда. Много составов двигалось из Москвы, из других городов – одновременно с нами – и на Восток, и на Юг... Задача по эвакуации, спасению женщин и детей из Москвы, по эвакуации людей не только через Москву, по быстрой передислокации заводов и фабрик из центрально-европейской части страны – за Волгу, на Урал – была выполнена. И это во многом предопределило, в конце концов, и саму Победу...

А мы тогда добирались до нашего места назначения – до Уфы – почти полмесяца: целых 13 дней... Сравним? Сейчас это расстояние поезд проходит всего за... один день и один час (подсказал мне Yandex), то есть, всего за 25 часов...

Вот так началась для нас война, ставшая Великой Отечественной, поистине народной. А мы с сестренкой долго еще ничего не знали о родителях. Отца так больше никогда и не увидели – погиб он... Тогда, в первый же год войны очень много летчиков погибло. А мама, как узнали мы много позже, тогда, в Киеве, хоть и очень больная, была выписана из госпиталя, как только стали поступать раненые. Хорошо, что командование Днепровской флотилии смогло все-таки организовать эвакуацию семей военнослужащих. И вот мама вместе с тетей Наташей на теплоходе, под бомбами, добралась вниз по Днепру – до Днепропетровска. Оттуда поездом – до Челябинской области. Забыла я название того крупного гостеприимного села, куда привезли эвакуированных из Киева. И где они стали работать. Кто как смог – в колхозе.

Позже мама встретилась с нами в Уфе! То-то была радость! И запомнился ее рассказ о том, какая страшная была бомбежка – тогда, на Днепровской воде. Столбы воды от бомб поднимались – то справа, то слева по борту, то впереди, то сзади корабля. И что уцелели они – чудом...

А потом был наш «всехний» переезд в Самару (тогда – город Куйбышев). Именно туда был эвакуирован из Москвы тот самый авиазавод, на котором работала тетя Маруся с мужем. Там мы все въехали в 1-комнатную квартиру. И оказалось нас в ней – уже 10 человек: шестеро взрослых и четверо детей. Взрослые, кроме тети Наташи, работали на заводе. И вот именно с того завода, № 24 имени М.В.Фрунзе, зимой 1942 года ушла наша Раечка добровольцем на фронт.

Как известно, в Куйбышеве обосновались и другие авиазаводы – из Москвы, Ленинграда, Воронежа. Это те, о которых я знала. Возможно, были и другие. Переехало тогда в Куйбышев и правительство СССР, и Большой театр. Там строился и специальный бункер для И.В.Сталина, где он так и не был. Он Москву и не покидал...

А нам, детям – спасибо нашим мамам! – довелось, хоть и война, побывать на спектакле Большого театра «Лебединое озеро». Но вот в Киев, который с жестокими боями был освобожден в ноябре 1943 года, мы так и не вернулись...

ДЕТДОМ



Саша СОЙФЕР (1936–2006)

Родился в с. Капрешты, МССР. Окончил Кишиневский строительный техникум, работал мастером на стройке, сотрудничал с Бельцкой городской газетой «Коммунист». В конце 1980-х годов переехал в Израиль, где публиковался в русскоязычной прессе.

Наверное, он был по-своему теплым тот детский дом.

До революции его здания служили кадетским училищем. Где-то в прошлом остались казачьи бунты... Сложили свои головушки кадеты, что учились тут. И вот уже большой портрет Кирова висит на стене в нашей спальне. Киров с улыбкой встречает утром, когда встаем и застилаем свои сиротские кровати. Он же провожает нас взглядом, когда отходим ко сну.

Увидев однажды фильм «Алые погоны», плакала душа моя, узнавая в недетском суровом быте маленьких суворовцев приметы и нашего детдомовского бытия. Я был одним из тех мальчиков-одуванчиков, которых ветер войны запросто мог сдуть с лица земли, и которым не досталась масса тепла не только от бабушек, тетушек, но и от собственных родителей.

А теперь представьте, как в темноте спальни появляется привидение. Визг, крики, особенно в девчачьей спальне, хотя девчонки знали откуда все это бралось. Рукотворное привидение делалось так. На голову ставилась подушка на ребро. На подушку набрасывалась простыня, чтоб прикрывала и подушку, и того кто под ней. И вот такое зловещее существо молчаливо отправлялось по спальням...

А утром:

– Строиться! По двое разберись! Идем на Хопер! И в лес!

– Ура! Строиться! Строиться!

– Песню, запевай!

«По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед», – затягивает нестройный хор детских голосов.

Неожиданно вдруг вдали начинает сверкать под лучами солнца белый изгиб реки. Белоснежный песок обрамляет ее берега. Нигде не встречал потом такого белоснежно-девственного ласкового песка. Завораживающий переход по длинному мосту. Между щелями в деревянном настиле глубоко внизу плещется вода. Когда идешь, кажется, что вот-вот провалишься в щель через которую осторожно переступаешь.

Заканчивается мост. И перед тобой, обласканный солнцем во всей красе предстает лес-заповедник. Строй мальчиков и девочек-детдомовцев шагает по проселочной дороге. Мимо выстроившихся высокой стеной деревьев. Выше крон – только солнце, а ниже – высокая густая трава. Над отрядом вьется песенка, которую нестройно подхватывают то здесь, то там. В душе до сих пор живет не только мотив, но и слова той нехитрой, веселой песенки:

И любо мне, и весело
Смотреть по сторонам.
Голубеньким и беленьким
Я радуюсь цветам.

И вот уже ласковое майское солнце проглядывает сквозь ветви деревьев.

Под раскидистым деревом окруженная детьми сидит наша воспитательница. В руках у нее книжка. Книжка называется «Аленький цветочек». И ты сидишь, тесно прижавшись к воспитательнице, а в воображении твоем всплывают удивительные образы той, теперь уже забытой сказки. Глаза зорко следят за жизнью, что кипит вокруг. Вот стрекоза с синеватыми прозрачными дрожащими крылышками уткнулась головкой в зеленый листик. Летают, роятся какие-то мушки. Садятся по каким-то, только им известным причинам на цветы, и тут же улетают. Возле ног лениво ползет огромный коричневый жук. У него

свои неотложные заботы в этом заповедном лесу. Он не торопится, медленно переползая через лежащий на пути сучок. Из травы выглядывают головки голубеньких колокольчиков, белых ромашек, желтых одуванчиков, кроваво-красных «граммофончиков». Умопомрачительный запах свежести.

О, этот гудящий, жизнеутверждающий мир! Я встаю перед ним на колени и готов вглядываться и вглядываться! Сколько лет мне тогда было? Пять, шесть, может все семь?

А кто за обедом не хотел, чтоб ему досталась горбушка? Права на горбушку были у Савельева и Медведева. Детдомовская жизнь выработала своих предводителей. И худо было тем, за которых некому было заступиться. Мне покровительствовал Медведев, крепкий коренастый мальчик, на года два старше меня. Особым лакомством был макух, или как его еще называют жмых – то, что остается от спресованных семечек, после как из них выжали масло. Кусочек твердого, зеленовато-коричневого с черными прожилками макуха можно было бесконечно долго держать во рту и отсасывать как конфетку.

Однажды объелись «калачиками». Весь детдом лежал кверху пузом. «Калачики» – это такая трава, внутри которой плод похож на свернутого калачиком белого червячка. Находили косточки слив и абрикос, разбивали их. Мягкие, горьковатые зернышки тоже были лакомством.

В старых конюшнях, находившихся во дворе, мечталось увидеть что-то таинственное. На самом деле ничего таинственного там не было. Под дырявой крышей носились воробьи. Пахло сеном и лошадьми, которые когда-то стояли тут. Чтобы проникнуть в высокое деревянное помещение, надо было воспользоваться маленьким лазом почти у самой земли. И мы это делали с большим удовольствием.

Как хорошо было здесь играть в войну. Более того, играть в войну интересно. Не было больно, если тебя ранят. И ты знал, что даже самая страшная война закончится тем, что позовут кушать:

– Строиться! Строиться на обед!

Я так и не научился как следует ходить в строю.

Казенные детдомовские годы...

– Что наступаешь на пятки?

– Я не наступаю...

– Еще раз наступишь, дам по «кумполу».

...В большом зале среди шума и гама расхаживает погруженная в себя женщина, ни на кого не обращая внимания. И говорит, говорит сама с собой. Как звали эту воспитательницу, уже не помню. У нее муж погиб на фронте... Ей не до нас.

Через несколько дней она поведет нас к себе домой. На столе гора пирожков. Так мы справили поминки по погибшему под Курском солдату.

Перед Новым годом впервые услышал слово «шефы». Шефы – это, оказывается, тети и дяди, которые приносят подарки детям. После прихода тетей и дядей из горисполкома у нас осталась, например, маленькая деревянная ветряная мельница. Мне она очень пришлась по душе. Надо было намотать веревочку на деревянный валик и потом дернуть. Крылья деревянной мельницы начинали быстро-быстро вращаться...

Зима 43-го года... Какие причудливые сугробы образовались вокруг детдома! Как замело и забило окна снегом! Как только распогодилось, пошли в военный госпиталь. Был морозный день. Необыкновенно ярко, до боли в глазах сияло солнце. Четкие вороньи следы на снегу. Дымились кругляшки конского навоза. Проходили через скверик, в котором стоял бюст Ленина. И тут же начали вразнобой декламировать:

Ленин, Ленин, дорогой,
Ты лежишь в земле сырой,
Я немного подрасту,
В твою партию вступлю...

Сгрудившись возле дверей, даем в госпитале концерт. Гора пальтишек на столе у входа в одну из палат. Из рукавов торчат на тесемочках варежки. Отличилась Тамара-певунья. Шестилетняя, коротко, как все мы, стриженая девочка с конопатым личиком знала множество песен о любви и о войне. Я сидел на постели раненого. Он достал из тумбочки несколько кубиков сахара и протянул мне. Сахар весело захрустел на зубах и во рту стало сладко-пресладко. В один из зимних дней весь детдом голый. Дезинфекция. Забрали матрацы, одеяла, подушки, простыни. Даже одежду куда-то увезли. Боялись вшей и тифа.

В большом зале под несколькими старыми, дырявыми одеялами сидят отдельными группами мальчики и девочки. Холодно. Зуб на зуб не попадает. Проходит час, другой, одежду не привозят... И тогда в холодном, не очень отапливаемом помещении, начинается движение маленьких обнаженных фигур, дрожащими ручками тянущихся к печке погреться...

Наступил 1944 год...

Осенью, группу будущих первоклассников ведут в школу, где с ними должны познакомиться учителя. В большой комнате, называемой классом, какая-то женщина пишет мелом на широкой черной доске палочки, нолики, закорючки, спрашивая что написано. Я понимаю все ее вопросы. Но, подавленный открывшейся новизной, отрешенно молчу, не в силах открыть рот. Учительница решает: «Он еще не созрел для школы». Наверное, принимает во внимание и мой маленький рост. Я выглядел младше своих одногодков.

В заборе, который окружал детдом, кто-то выломил доску. И ты стоял возле этой щели, и смотрел на улицу, думая, что может быть вот тот дядя, который идет по тротуару, вдруг окажется твоим папой. И ты крикнешь ему:

– Папа! Папа! Я здесь! Иди забери меня быстрей!

То, что война идет к концу, мы почувствовали, когда, то одного, то другого, стали забирать приходившие родственники.

Однажды пришли и за Тамарой-певуньей. Сразу отец и мать. Он – высокий, в черном морском кителе. Пришел как будто из песни, которую пела она про седого боевого капитана. Они одарили каждого из нас кусочком трофейного шоколада.

Из детдомовской жизни память настойчиво выхватывает такой эпизод. В одно пасмурное майское утро 1945-го года проснулись необычно рано. Кто-то вбежал в спальни и закричал:

– Война закончилась! Вставайте!

Что тут было! Мы бросались подушками. И воспитатели ничего не могли поделать. Теперь мне кажется, что они не особенно старались нас угомонить. Ведь сами были вне себя от радости. Целый день взрослые занимались только тем, что вывешивали флаги и портреты вождей. На складе в детдоме хранились две вилочки с монограммами, довоенное фото и бабушкин подсвечник – все, что осталось от нашей семьи. В это время моя тетя и ее муж – люди далеко немолодые – скитались по Северному Кавказу. Дядя работал бухгалтером в колхозе, где они жили, тетя Роза – зубным врачом в райцентре, в нескольких километрах от села. Когда началось наступление немецких войск, рвавшихся на Кавказ к бакинской нефти, решено было эвакуировать племенное стадо колхоза в глубинку. Они гнали скот, чтобы он не попал в руки врага, прошагав почти четыреста километров, по горячим, выжженным степям Прикаспия. Вот тогда-то нежные руки зубного врача познали тяжелейший труд: научились доить коров и проделывать еще тысячу разных дел. Война еще продолжалась, а Господь все настойчивее шептал тете Розе и ее мужу:

– Детей у вас нет. Вы должны взять на воспитание Шурика – Сониного сына.

– Да, но мы скитаемся и сами не устроены. Мы голые и босые.

– Но если у вас есть кусок хлеба на двоих, то найдется крошка и для третьего.

– Но мы не знаем, где его искать.

– Ищите и найдете. Помните: ищущий, да найдет. Желающий сделать добро, да сделает его.

И они стали искать, посылая запросы в разные инстанции, пока не получили, наконец, ответ, что я нахожусь в детдоме города Урюпинска. Через несколько дней группа мальчиков и девочек стояла возле дверей детдома. Букеты душистых ландышей на подоконниках напоминали о лесе, откуда их только что принесли, чтобы они украсили детдомовскую жизнь. Кое-кто принес с собой еще полные пазухи кислых лесных яблочек. Вываливали их на стол в кабинете у директрисы детского дома, получив за это нагоняй. Именно в тот день я почувствовал, что должно произойти что-то необычное. Мы только пообедали, как вдруг ко мне подходят:

– За тобой приехали!

И услышал я почти забытый голос:

– Шурочка, дорогой!

Я уткнулся во что-то мягкое и теплое. И это мягкое и теплое не кто иная, как тетя Роза (сестра матери), приехавшая забрать меня из детдома.

– Шурочка, какие мы проезжали леса и поля! Какие то были реки! Лежали под откосами изуродованные, покореженные паровозы и опрокинутые вверх колесами вагоны. Реки были со взорванными мостами. На земле лежали самолеты – словно птицы, с распластанными крыльями, которым уже никогда не взлететь!

Еще недавно вдоль железнодорожных путей, по которым мы ехали, прошли тяжелые бои, и перед моим взором открывались те удивительные картины. А помнишь тесный, покачивающийся вагон? Сколько людей в нем ехало! Кто-то бегал через линии на станцию за кипятком. Кто-то делился нехитрым пайком. На верхней полке кто-то метался и кричал что-то бессвязное. Видимо для него война еще не кончилась. Может быть, он снова видел себя бегущим в атаку. Может, лежал, полузасыпанный в окопе, или корчился от боли на операционном столе. Две девушки, сидят в уголку у вагонного окна, укрывшись одной шинелью, и поют про синенький, скромный платочек, что падал с опущенных плеч...

По вечерам в отсветах вагонного фонаря, после того, как проводник вставлял в него керосиновую лампу, по вагону метались длинные, уродливые тени.

И все-таки мир казался голубым и зеленым. Он пах свежими ландышами и острым запахом карболки на вокзалах. Каким счастливым я тогда был! Была у меня тетя Роза, и было мне к кому прислониться. Я уже не был таким одиноким и заброшенным в том жестоком послевоенном мире.



Серия «Библиотека прозы Каменного пояса» А.И.Драт «Красные огурцы: Повести, рассказы».

Большинство повестей и рассказов, собранных под одной обложкой в этой книге, написано, как говорится, не сейчас и не здесь. Временные рамки появления их на свет охватывают приблизительно середину 70-х – начало 90-х годов XX столетия. Очень разнообразна их творческая «прописка»: Алтайский край, Казахстан, Туркмения, Урал... Очень неоднородна их жанровая «генетика»: то детектив, то фантастика, то реальность – нередко забавная, зачастую страшная... Отсюда – «Красные огурцы». И не только потому, что так называется одна из историй, помещенных в данном сборнике. А еще и потому, что сам сборник весьма и весьма эклектичен по сути...

Книги не умирают, пока их читают... Так получилось, что этим повестям и рассказам в свое время не повезло: они, по целому ряду субъективных и объективных причин, не дошли до читателя. Как бы не родились. Точнее, как бы не состоялись полностью... Но... Не совсем верным будет сказать, что мы даруем им жизнь. Нет, они – те же. Они остались такими, как есть. Просто поставлены в иные условия. Просто перемещены в другие обстоятельства. Как и мы сами. Нам (многим из нас) выпало жить и в том, и в этом временах. Это нелегко. Это не у всех получается одинаково. Но мы пытаемся выстоять.

Пусть же попробуют выжить в этом новом времени и они.

Александр Драт.

МОНОЛОГ БЫВШЕЙ УЗНИЦЫ

Елена ДАНЧЕНКО

Поэт, переводчик, журналист. Член Союза писателей г. Москвы. Окончила факультет журналистики КГУ (Кишинев) и училась в Высшей школе переводчиков г. Утрехта. Автор 6 книг стихов. Лауреат и финалист многих конкурсов.

Мою маму зовут Галина Васильевна Щербак, в девичестве ее фамилия была Тихонова. Она 1922 года рождения, в этом году ей исполнится девяносто пять лет. Во время войны фашисты угнали ее из белорусского города Орши, в котором она родилась. Ее концлагерный номер вытатуирован на руке выше локтя, и я его помню с раннего детства. Но мне даже в голову не приходило его записать. Теперь он почти стерся и, кроме того, мама категорически отказывается его показывать – чего-то боится. До сих пор...

Однажды я попросила маму рассказать мне ее жизнь. Рассказать как постороннему человеку, журналисту, все что было и все что есть... Вот что она поведала.

В 1938 году я переехала из Орши в Ленинград к бабушке Груне, маминой маме. Хотела закончить там школу и поступить в ленинградский юридический институт. Отучившись в 9 и 10 классе в 17 школе Дзержинского района (угол Восстания и Некрасовской), поступила в юридический институт, выдержав высокий конкурс – стать юристом было моей мечтой. В июне 1941 года в честь окончания первого курса институтом был дан самый настоящий бал: нарядные, счастливые, ставшие уже второкурсниками, мы кружились в вальсе, смеялись, играли в фанты, не зная, что нас ожидает завтра. Домой я попала в те самые «ровно четыре часа». Только прилегла на кровать, как в комнату постучалась соседка (мы с бабушкой жили в большой коммунальной квартире):

– Галя, вставай, началась война!

– Ну и что, – буркнула я спросонья, – в 39-м тоже война была, с финнами, так мы ее и не видели, – повернулась на другой бок и заснула...

Я хорошо пела, даже со сцены домов культуры, в фойе кинотеатров, в основном, песни из репертуара Изабеллы Юрьевой. В ту войну с финнами, а боевые действия проходили совсем неподалеку от Ленинграда, мы с бригадой пели в госпиталях и видели раненых. Но вот войны не видели, так что я искренне верила, что какая-то очередная война закончится, как и советско-финская, в течение нескольких месяцев.

На 23 июня у меня был куплен билет в Оршу, и я уехала к родителям. Трудно сказать, где проще было выжить: в блокадном Ленинграде или в Равенсбрюке... все мои ленинградские родственники, огромные семьи Николаевых и Матвеенко (а мои отец и мать коренные петербуржцы) умерли в блокаду от голода... Скажу так: нигде не проще.

Выжить в войну тоже подвиг.

В первые дни войны через Оршу проезжали грузовики с евреями, сбежавшими из Польши. В те ужасы, что они рассказывали, трудно было поверить. С первого дня войны мой отец вместе с соседом Жорой Петкевичем работал в военкомате, занимался мобилизацией на фронт. Он и Жора достали где-то экскаватор и вырыли в нашем дворе глубокую яму-окоп. Накрыли ее поверх бревнами, засыпали землей. В ней мы и соседи прятались во время бомбежки Орши, а она была разрушена почти как Хатынь. Потом папа вывез нас всех в поселок Згарда, где мы за скудную похлебку работали в поле у хозяйки.

Потом по постановлению горисполкома вернулись в Оршу, как

выяснилось – прямо к оккупации... Наш дом сгорел в бомбежках, и все имущество иже с ним; мне, матери и сестре пришлось поселиться у хозяйки. А вскоре нашу большую комнату заняли немцы – три эсэсовца. А мы с мамой и малолетней сестрой Катей ютились в каморке. Топили немцам печь, варили еду, убирали, стирали, а они нам за это давали по куску хлеба и по миске баланды.

Всю молодежь города по повесткам вызывали на работы. Сперва я на огромном складе перебирала посуду. Бракованные, с отколотыми краями тарелки, блюда и заварочные чайники нам разрешали забирать с собой. Помню, принесла тогда много посуды соседям, мамочка даже кое-что выменяла на муку. Затем нас стали на автобусе возить в Балбасово (в те годы и сейчас там находится военный аэродром) в госпиталь для немецких офицеров, где я и другие девчонки работали санитарками. Кормили нас хорошо: там были каши, супы. Я могла даже приносить бидоны с едой домой, кормила всю семью и соседей – семь человек. Под окнами госпиталя работали наши военнопленные. Я начала им спускать на веревке еду, в тех же бидонах. За этим занятием меня как-то застал эсэсовец, вырвал бидоны из рук, бросил меня на пол, стал пинать и жестоко избивать. Меня хотели даже повесить в назидание местным «унтерменшен». Спасла меня мама. Кто-то из наших девчонок сообщил ей о том, что случилось, она тут же примчалась в Балбасово и начала говорить по-немецки. Она прекрасно знала язык – выучка царского Института Благородных девиц. Не знаю, что она им наговорила, но вместо казни меня отправили на работы в Германию.

Мы ехали в товарняке трое суток. Ни есть, ни пить в дороге немцы нам не давали. Очутилась я в городе Рехлин, в семье колбасника Генриха Рауш, который работал для фронта: поставлял солдатам сосиски в консервных банках, колбасу, тушенку. В его колбасном цехе уже работали трое французских военнопленных: Дезире, Жан и Пьер. Там можно было жить: относились ко мне неплохо, не били, не кричали, кормили хорошо. Работать приходилось много и без выходных, в основном, по уборке дома и за детьми-гимназистами присматривать, но и мои хозяева тоже много работали. И дожила бы я на той колбасе до окончания войны, возможно, спокойно, но язык у меня острый, как бритва. В дом к колбаснику повадился молодой офицер – русский, вывезенный в Германию ребенком родителями-дворянами. Он служил в СС. Ну я и неосторожно при нем пошутила, уже не помню, как и в связи с чем. Шутка заканчивалась словами: «Вот погодите, скоро придут наши». Короче, сдал меня тот эсэсовец в гестапо.

Так я попала в политический женский концлагерь «Равенсбрюк», который находился недалеко от города Фюрстенберг, в сравнении с которым даже оккупированная Орша и жизнь в немецкой «колбасной» семье казались раем... Это случилось в июне 1942 года, а было мне в те поры неполных 20 лет – я в августе родилась. Нам выдали полосатое платье и такую же полосатую куртку, платок на голову, деревянные опорки, которые мы носили на босу ногу, и зимой тоже. Всё.

Утром нам давали по куску хлеба, в обед миску брюквенной похлебки, вечером эрзац-кофе. По воскресеньям одаривали 20 граммами маргарина и двумя кусочками сахара. А работа была каторжная, по 12 часов в сутки – с 6 утра до 6 вечера. Поднимали в 4 часа. Утром и вечером нужно было стоять на перекличке, где нельзя было даже шепотом сказать слово. Стояли по два часа с голыми ногами в колодках – и в снег, и в метель, а потом шли на работу. Трудилась я сначала на земляных работах (копала рвы), потом шила в швейной мастерской, потом два года на фирме «Сименс». Это спасло мне жизнь – все-таки не в поле на холоде. Мы работали в бараке, под присмотром надзирательниц, и там нельзя было даже шепотом сказать слово. Перерыв был только полчаса, за которые мы успевали съесть половник брюквенного супа. В нашем бараке делали детали для немецких Люфтваффе, в основном, трансформаторы. И мы, русские, молча те детали браковали, на свой страх и риск.

В лагере сидели женщины всех национальностей: русские, белоруски, украинки, чешки, польки, голландки, сербки, словачки, даже немки, забранные по политической статье. Сидела жена Юлиуса Фучика, например, Густа Фучикова. Ох, я там и много языков освоила, пусть и на разговорном уровне, а немецкий знала лучше других, учила его в школе и в институте. Пела на разных языках, я ведь голосистая была, и немцы ставили меня впереди колонны, чтобы я запевала по дороге не работу. Пела «Лили Марлен», всякие немецкие народные песни. Мне языки легко давались, тексты песен запоминала быстро и с тех пор пою на восьми языках.

Женщины из СССР были единственные, кто не получал посылок из дома, потому что Сталин не подписал соглашения с Красным Крестом. Остальные получали посылки, и не все были крысами – делились с нами. Помню, раньше всех умирали француженки: худенькие они были, тонкокостные, а славянки другие, поплотнее. В низшем лагерном начальстве служили польки, и были они хуже немок-ауфзерок (надзирательниц). Стучали на нас, русских, белорусок и украинок, сдавали ни за что. Надо было помалкивать. Уже в конце 1944 года я угодила на 15 дней в карцер. Там уже были женщины. Три дня держали без еды, приносили только воду. Нас страшно били. Лежали вповалку на земляном полу, от голода не было сил встать. Потом меня свалил брюшной тиф. Спасли чешские врачи из заключенных. В госпитале том ставили опыты на живых людях: отрезали здоровые конечности пилой без наркоза, вырезали почки, вынимали кости из ног, заражали неизлечимыми болезнями, делали воздушную эмболию. А трупы сжигали. Помню, привезли троих голландок в больницу: длинные такие девки, высоченные. Они сильно кричали от боли. К ним подошли два врача и сделали в вену воз-

душную эмболию. Голландки тут же перестали кричать, скончались на моих глазах... Печи крематория на территории лагеря работали день и ночь. А я выжила, и меня те врачи-чешки устроили на «хлебную работу»: я начала перебирать в крытом бараке картошку и овощи. Не дай Бог что-то положить в рот и начать жевать, могли засечь и бросить снова в карцер. И не дай Бог что-то попытаться стащить – обыскивали при выходе. Но все-таки какие-то крохи перепадали.

А спасли меня русские бомбы. Сейчас расскажу, как это было: в конце апреля 1945-го нас согнали всех, оставшихся в живых в лагере, и загнали в теплушки. Те поезда шли к Балтийскому морю. Целью фашистов было погрузить нас на баржи, вывести судна в открытое море и утопить, чтобы скрыть следы преступлений. Но наши войска уже наступали, состав начала бомбить русская авиация. Охранники бросились бежать, кто куда. Мы открыли теплушки и высыпали в чистое поле. И побежали, на ходу выхватывая из земли корнеплоды. Их, грязные, сырые, совали в рот – не было сил терпеть голод – жевали и бежали, бежали и жевали прямо под бомбами, бежали, петляя как зайцы... Добежали до леса. Определились, где восток, и заснули. Нас в группе было человек пять-шесть. Проснулась я оттого, что кто-то наступил мне на лицо сапогом. До сих пор не знаю, приснилось мне это или случилось наяву. Стоят трое, один целится мне в лицо автоматом, думаю: «все, конец мой пришел». Начала плакать, умолять нас пощадить, по-немецки я хорошо к тому времени говорила. И тут послышался рокот наших танков, немцы побоялись себя обнаруживать и ушли. И снова я была спасена! Вышли мы на дорогу, голодные, тощие, босые, в драных полосатых платьях, а по дороге той идут наши! Что это была за встреча!.. Освободил нас летный корпус Байдукова. Меня с девочками поселили, отмыли, а летчики забили для нас корову. Мясо сварили в огромных чанах, и мы ели и ели, не насыщаясь... Две девочки умерли от заворота кишок, остальные выжили. От грязной брюквы с поля и от обилия, не виданного три с половиной года мяса, сводило животы. Мы не вылезали из уборных от поноса, но все равно без конца ели. Потом была длительная проверка КГБ. Мы работали официантками в столовой войскового корпуса Байдукова. Помню, от слабости меня шатало, и я пролила почти кипящий борщ на одного офицера. Бросилась извиняться, а он ни слова упрека мне не сказал.

В конце июля нас посадили на грузовики, дали на каждую машину по мешку муки и отправили на Родину, которую все три с половиной года лагеря я видела во снах. По дороге, завидев хозяйства, наши водители останавливались, мы выходили из кузова и рвали плоды с деревьев в садах и овощи на огородах. Немцы молчали, а вот поляки кричали на нас и ругались. Мы не обращали внимания – брали всё, что попадалось, пряча плоды земные за пазуху – пластиковых пакетов тогда не было, а хозяева, понятное дело, газетными кульками не снабжали. Так доехали до границы с Белоруссией. Там меня посадили на поезд и отправили до Орши. Ранним утром сошла с вокзала и пошла пешком на Песчаный переулок, где жила мама с сестрой. Плакали, обнимались, целовались... Вес мой был после лагеря 42 килограмма, при росте 170 см, а ноги водянистыми и слоновьих размеров, все в ранах, да таких, что в каждую можно было вложить палец. Помню, попросила маму сварить мне чугунок картошки. Она сварила, посолила и полила картошку подсолнечным маслом. Я забрала чугунок в огород, села между грядами, вытянув ноги, и съела все его содержимое...

От мамочки я узнала, что папа жив, но его пока не демобилизовали, а отправили с частью в Ригу.

На вопрос: встречалась ли я с кем-то из лагеря, отвечу – да. И первая встреча произошла как раз в Риге. Отъевшись и отоспавшись у мамы, я отправилась в Ригу, к отцу, на разведку. Дело в том, что ему там дали отдельную квартиру для нашей семьи на улице Дартаеэла, это за Двиной. Та квар-



Мама после войны.

тира была большая, красивая, но с печкой и все удобства – во дворе. Но у нас печка и в оршанском доме до войны была, и те же самые скворечные «удобства» во дворе. Еды было вдоволь, хотя и по карточкам, папа меня приодел. Но вот город не понравился – слишком плохое отношение к русским, это ощущалось в магазинах, на рынках, повсюду, где бы ты н говорил по-русски. И вот иду как-то грустная по улице, навстречу мне идет красивая высокая дама и вдруг останавливает меня: «Галя!» Боже мой, Катя Костаценко из Равенсбрюка! Немыслимая красавица с синими глазами – еле узнала бывшего лагерного заморыша. Не раздумывая, Катя повела к себе, а по дороге рассказала свою послевоенную историю. Катя была рижанкой, и ее вернули, естественно, в родной город. После возвращения из Германии ее вызывали в КГБ на допросы, и все это закончилось неожиданно. Майор, допрашивающий Катю, однажды сказал ей: «Выбирай: или десять лет лагеря в Сибири, или выходишь за меня замуж». Майор ей не нравился, он был до ужаса некрасив, почти уродлив. Но Катя выбрала его, потому что альтернатива была гораздо более уродливой. Она попросила меня быть с мужем приветливой, тем более что к Кате он очень хорошо относился. Кирилл оказался премилым человеком, принял меня как родную. В Риге у

меня не было других подруг, поэтому мы часто виделись. Кирилл приглашал нас в рестораны. Там красавица Катя заставляла мужчин столбенеть. Ее нарасхват приглашали танцевать кавалеры. Я заметила, что Кириллу это было неприятно, и танцевала только с ним, отвлекая от ненужных мыслей, лишь бы они не поссорились. Уехав из Риги, никогда больше не встречалась с ними.

Вторую подругу по несчастью нашла в Кишиневе, уже после окончания юридического института. Встретила на базаре, в начале пятидесятых. Звали ее Полина Черняк. Простая полная женщина. Полина нигде не работала, занималась подпольными абортами, в то время аборты были запрещены. Жила она небогато, но на еду ей и трем ее детям хватало. Потом сына убили, а одна из дочерей пошла по рукам. О матери заботилась только одна путевая дочь – Лариса. Когда я переезжала из Кишинева в свою Оршу окончательно – а было это уже в 1993 году – пришла к Полине попрощаться. Она, давно пенсионерка, тогда жила у внучки, и была совсем слабой физически.

Еще одну мою лагерную подругу Тонечку Анютееву разыскала в Одессе. Еще в Германии она дала мне свой одесский адрес, но только в конце пятидесятых годов, будучи в Одессе с концертной бригадой кишиневской фабрики «Букурия», где я трудилась в то время, разыскала ее довоенное жилище. Там оказалась только ее мама, но она дала мне Тонин адрес. Нашла я ее дом в одном из типичных одесских двориков, поднялась по скрипучей аварийной лестнице на второй этаж, а там – четыре двери и возле каждой шипит примус. Соседи показали Тонину дверь, предложили подождать ее с работы у них. Пришла Тонечка, увидела меня и остолбенела... ведь столько лет не виделись! Потом обнимались, целовались, плакали. Тоня пригласила меня к себе. Комнатка у нее была 5–6 метров, там стояли двухъярусные нары, стол, один стул и всё. С первым мужем она была уже в разводе, и им пришлось поделить сыновей: старший остался с отцом, младший жил с ней. Работала Тоня поваром на барже. В ее комнатке мы пробыли недолго, подруга стремительно потащила меня на Дерибасовскую, в шикарный ресторан «Лондон». Там она заказала самое лучшее и дорогое. Сидели за столиком до закрытия, все не могли наговориться. К ее дому специально пошли пешком, и говорили, говорили... Назавтра ей надо было заступать на смену, а мне – возвращаться с бригадой в Кишинев. После этого мы часто встречались. Коренная одесситка, Тоня была веселая, великая оптимистка, любила пропустить стаканчик вина за компанию и много курила, просто не выпускала папиросу изо рта. Когда она повторно вышла замуж и получила двухкомнатную небольшую квартиру, мы с дочкой приезжали к ней в гости, купались в море. Курево сгубило ее – Тоня умерла от рака легких. Когда в 1986 году я приехала к ней, дверь открыл муж и рассказал мне о ее кончине.



Тонечка Анютеева.
Сидела в Равенсбрюке.

Как я жила после войны? Трудно. В родном Ленинградском юридическом институте восстановиться не смогла. В архив попала бомба, все документы довоенных студентов сгорели. Преподаватели лежали на Пискаревке, и я не сумела доказать, что училась в своей Альма Матер. Бабушкину комнату мы потеряли. В конце войны к ней сумел пробраться ее младший сын – мой дядя Лева и вывез ее в Москву. Соседи были мертвы, а нашу комнату занял какой-то военный по официальным документам. Он меня на порог не пустил, пришлось возвращаться в Оршу ни с чем.

Начала заново: год готовилась к вступительным экзаменам в Минский МЮИ. Трудно было, за годы войны знания куда-то улетучились. Я интересная была, мне делали предложения в Орше молодые военные, а отец меня замуж не пустил. Сказал: будешь адвокатом. Надо профессию иметь, а потом замуж. Жизнь показала, что отец был прав.

В Минский юридический институт поступила легко. Ведь мне было уже 25 лет, и туда охотно брали девушек повзрослее. Пребывание в концлагере пришлось скрыть – иначе бы не допустили к экзаменам. Вы представляете: ТАК намучиться и в итоге всю жизнь скрывать, что была за границей. За какой границей? Добра и зла? За пределами человеческого общества, на положении рабочей скотины? Говорить об этом стало возможно только после перестройки...

Жили иногородние студенты тяжело: корпуса общежитий больше напоминали бараки. Все удобства – во дворе. Спали по две девушки на одной койке. Моя соседка по кровати писала прямо в кровать... пришлось сказать ее родителям, чтобы сняли ей комнату в Минске... только после этого я вздохнула. Помогали родители, мамочка держала огород и свинью. Отец привозил из Орши бульбу, капусту, сало. Готовила на керосинке борщи. В студенческой столовой было голодно. Но там давали неограниченно хлеб и горчицу. Так вот мы, студентики, мазали той горчицей хлеб и ели.

Минск был очень разрушен бомбежками, по выходным нас гоняли на работы по восстановлению города. Носили по двое на стройке кирпичи в носилках, расчищали, неквалифицированная работа была и, конечно, бесплатная – никто не помогал СССР после войны.

Однажды работали рядом с пленными немцами. Ох, я и оторвалась на них! Отборнейшим немецким матом так обкладывала, что они сначала затыкали уши, а потом устроили бойкот, сказав, чтобы меня убрали, иначе не будут работать. С ними наши обращались по-человечески, русские вообще милосердны к врагам.

На старших курсах устроилась на работу в «Белгорзаготзерно», на полставки, жить стало легче – начала получать свою первую зарплату. При распределении мне предложили два места, на выбор: Калининград и Кишинев. Ни с одним из них меня ничего не связывало, но захотелось на юг, фруктов поесть. Вообще еда для меня всегда была признаком достатка, чем-то вроде роскоши, слишком я наголодалась в Равенсбрюке. Кроме того, в Кишиневе жила моя подруга по МЮИ – Жанна Пархоменко. Вот я и поехала жить и работать в Кишинев в 1953 году, а стукнул мне тогда уже 31 год. Юность закончилось, а я ее так и не видела... Устроилась на работу на обувную фабрику имени Сергея Лазо. Жила на частной квартире, с несколькими девочками. По работе зашла как-то в Госарбитраж, а там встретила Якова Георгиевича Жуковского, оршанца, которого знала по МЮИ – он был одним из наших преподавателей. Жуковский очень мне обрадовался. Пригласил работать консультантом в Госарбитраж и обещал помочь с квартирой. В Госарбитраже были привилегии: обеды в столовой Совета Министров, продуктовые пайки. Там же я начала играть в шахматы, да так успешно, что вошла в состав сборной Молдавии. Играя в шахматы, объездила весь Союз: Ленинград, Москва, Харьков, Донецк, мы играли везде.

Работа в Арбитраже была сложная: с 9 утра до 19.00. Было очень много бесед с посетителями. Больше всего недостач по республике было у кондитерской фабрики «Букурия». Я не выдержала и позвонила директору фабрики и пригласила прийти на собеседование. Рассказала ему, как надо действовать их юристу, чтобы не было столько недостач и пересортицы. Он ушел, довольный беседой, а через некоторое время позвонил и предложил у них работать. Обещал квартиру в строящемся доме. А Жуковский свое обещание так и не сдержал и квартиры мне не выделили. Ну, я и пошла работать на кондитерскую фабрику, о чем ни разу не пожалела.



Мама с подругой Бертой Харантовой, оршанкой.

Не обошло меня стороной и личное счастье. В 1956 году встретила своего будущего мужа. В то время он работал учителем русского языка и литературы в Избештах – это село, расположенное довольно далеко от Кишинева. Встречались мы только по субботам и воскресеньям. Жить нам было негде – я в съемной комнатушке, он жил в селе. Кроме того, мы не могли пожениться, потому что он ...был официально женат на русской бакинке Зое, от которой сбежал к родственникам в Кишинев, не разводясь. А денег на развод и поездку в Баку не было. Попытались пожить у его семьи, семь человек в одной комнате. Не получилось. Сняли подвал у полковника Мухина, за Комсомольским озером. У него был участок, на котором стоял его частный дом и пристройки. И подвал – четыре ступеньки вниз. Вот там мы и поселились. Родилась дочь. Тогда декретный отпуск был около месяца, надо было на работу выходить – что делать с ребенком? Яслей не было, и мама прислала мне из Орши первую няню для девочки, потом вторую. Вторая, Юля, была очень хорошей, дочка ее полюбила.

Постепенно жизнь наладилась. Я очень понравилась руководству фабрики, при мне ни одной недостачи не случилось! Муж пошел



Мама (крайняя справа). Минский юридический институт.

работать на студию «Молдова-фильм», администратором, там дорос до директора художественных фильмов. Комнату мне все-таки дали – на троих. Муж был прописан у матери, в квартире, где жила огромная украинская семья. Но они все постепенно ушли, и его мать выделила нам площадь, сама пошла жить в частный домик. Площади мы сложили и выменяли на двухкомнатную квартиру на Рышкановке. Отдельную! Вошли, а там – паркет медовый, отдельная кухня, ванная с дровяным титаном для горячей воды, унитаз со сливом, каморка в подвале для тех самых дров. Мне все это тогда показалось раем...

В 1962 году отец мой помог с разводом, выслал мужу 2000 старых советских рублей для поездки в Баку. Он поехал и развелся. Так что замуж официально я вышла только в сорок лет.

Материально мы жили хорошо, работали оба как два вола: я на фабрике, муж на студии. Он потом получил второе высшее образование, окончил Киевский институт народного хозяйства, факультет экономики кинематографии, заочно. Сам по командировкам со съемочной группой, еще сессии в Киеве сдавал, мы редко виделись. Бывало, по три ночи не спал – работал и к экзаменам готовился. В отпуск я часто ездила только с дочкой – в Одессу, под Одессу – на Каролино-Бугаз, в Крым, брала ее в командировки в Москву, в Ленинград, город своей юности.

Дочка выросла, стала журналистом. Вышла замуж и уехала жить в Москву. А мы с мужем остались в Кишиневе. Потом дочь привезла нам на несколько лет внука на воспитание – сама работала в редакциях, ездила в командировки. Потом внука молодые забрали, и мы остались одни.

Очень тяжело вспоминать перестройку в бывшей Советской Молдавии. Ну, наша участь никого не минула, и это отдельный рассказ. Но... надо было уезжать. Уехали в Оршу, на мою родину, и решение было правильным. Там у меня остались полдома от отца. Потом купили отдельный большой дом. Потом муж умер, и я осталась одна. Мне 94 года, все мои подруги ушли из жизни. Дочка живет сейчас в Европе, приезжает ко мне ежегодно, живет по месяцу-два, иногда и дольше. Внук приезжает крайне редко и на короткий срок – у него много офисной работы в Москве. Дочке проще – она писатель: взяла компьютер и приехала. Так и живу одна. У меня есть помощница по хозяйству, она покупает продукты, готовит еду, убирает, моет меня в ванной. Я всем довольна.

В Оршу и Витебск иногда приезжают немцы из фонда «Взаимопонимания и примирения». Приезжали представители фирмы «Сименс», с деньгами. Меня всегда приглашают первую – я ведь старейшая из выживших в концлагерях после войны и хорошо говорю по-немецки. Получила неплохую выплату из немецких фондов. На эти деньги мы и сумели с мужем на старости лет купить дом, в котором я живу.

Но знаете, если говорить о Равенсбрюке, то скажу словами Варлаама Шаламова: «Он всегда со мной, куском льда в сердце, даже в самый жаркий июльский день». Такое не забывается.

г. Орша, Витебской области, Беларусь.



НИКТО НЕ ХОТЕЛ УЕЗЖАТЬ

Александра ЮНКО

Журналист и литератор. Автор нескольких книг стихов, оригинальной и переводной прозы, эссеистики. Живет в Кишиневе.

Платье было старое, мятое, впереди твердое от молока. На ногах домашние шлепки. Торопилась уложить дочку, выскочить на улицу, подальше от матери, и забыла обуться. И вот они таскаются по окраинным холмам, болтая ни о чем, как в старые добрые времена, когда он еще не женился, а она не родила и даже не планировала когда-нибудь совершить что-то такое героическое.

– Мы с Раисой разводимся, – мрачно сообщил он. Она уронила шлепку и сбилась с шага:

– Как, почему?

Юркиной жене, если начистоту, Мила могла бы посочувствовать. Характер у него не сахар. Но – развод?!

Раиса была эффектная сдобная блондинка, пусть и крашеная, из приличной и хорошо обеспеченной семьи. Юру тоже не на помойке нашли, родители, учителя, образование московское, но жена всем своим видом показывала, что заслуживает лучшего. Жили они плохо. Хватило один раз пойти к ним в гости, чтобы понять. Юра прикрывался от супруги Милой, как защитным экраном. А Раиса, вдохновленная присутствием постороннего лица, разыграла семейную сцену под названием: «Ты мужик, и поэтому заранее во всем виноват, но не дай тебе бог провиниться, и я накажу тебя по-настоящему». Можно было бы поаплодировать, если бы все это не происходило на глазах у ребенка, которого по желанию Раисы назвали модным именем Октавиан, – его взгляд метался между отцом и матерью, как живое существо, испуганное и несчастное. Мила подумала тогда: Тавик не только заикается, но и писается по ночам в постель, а позже обе догадки подтвердились.

– А Тавка – что будет с ним?

– Останется со мной. Раиса согласна.

Пока она переваривала эту новость и невольно примеряла к себе (отдать свое, кровное? не дождетесь!), Юра рухнул на зеленый взгорок и ее потянул за собой.

Они сидели над мигающими в низине Дурлештами и по очереди пили каберне, передавая бутылку из рук в руки. Мила делала мелкие, чисто символические глотки, не в силах отказаться от забытого удовольствия.

Юрка допил и резко отбросил пустую бутылку, и она нахмурилась – на него не похоже, – но стекло не разбилось: бутылка спружинила и рыбкой скользнула вниз по траве.

– Поехали ко мне, – голос у него был трезвый, но слишком уж напряженный. – Раиса осталась в Оргееве, у своих. Утром привезу тебя обратно.

Она не поняла сразу и, как в юности, хотела заглянуть ему в глаза. Но он отвернулся в сторону дальних гаражей, где припозднившаяся компания танцевала под ля-ля-ля. Только нащупал ее руку и сжал до боли.

К этому времени Мила уже догадалась. В горле у нее что-то булькнуло, оттуда вырвался почти непристойный звук – она с изумлением услышала собственный смех и хотела извиниться, ведь ничего забавного, наоборот, но хохот нарастал, теснился внутри, переполнял тело, извергался наружу, летели вверх раскаленные камни и все вокруг заливала дымящаяся лава... А когда вулкан иссяк, она в изнеможении повалилась на спину, все еще содрогаясь.

Он просил то, что Мила дать не могла. Из груди течет, поясница разламывается; мать не встает с дивана и все больше впадает в маразм; в онкоцентре умирает сестра; муж так далеко, четыре часа

автобусом, и ничем не помогает... Она кто угодно сейчас, стельная корова, сиделка, прачка, кухарка, добытчица, но только не женщина – не та женщина, которая могла бы... В общем, не та женщина. Хотя ему по барабану любые объяснения, своих забот выше крыши.

Он лег на траву рядом, прикоснулся к ее щеке, сухие пальцы на мокром.

– Прости, это была истерика, – прошептала Мила и увидела, как в ответ шевелятся его губы: прости.

Совсем близко висели крупные южные звезды, лучшее седативное, всей кожей она впитывала истекающий сверху вселенский покой.

– Раиса совсем свихнулась, – продышал Юра ей в шею. – Она вроде как оскверняет себя, раз связалась с русаком, и сын у нас не Октавиан, а Ванька неполноценный, так и сказала...

Он делал усилие, повторяя жестяные, нечеловеческие слова, с трудом выталкивал их из себя, они царапали рот, резали изнутри. Ему было больно, и Мила не раздумывая прижала Юркино лицо к твердому от молока ситцу. Поплачь, поплачь, хотелось ей сказать, полегчает, но она не посмела, и он трясся в сухих, прерывистых, похожих на икоту рыданиях, а она гладила его по голове, по плечу, по спине, как маленького мальчика, который мог родиться, если бы они тогда по молодости не сглупили.

– А что говорят ее родители? – спросила она, когда возвращались.

– Поддерживают Раису.

– Да ты что?!

– Во всем и двумя руками.

Еще вчера бабушка и дедушка надышаться не могли на единственного внука, и в голове не укладывалось, что заставляет немолодую чету отказываться от собственной плоти и крови.

Разваливались не только семьи. Земля уходила из-под ног, все вокруг рушилось, как при бомбежке. Город, веселый приветливый город, пугал серыми стенами, по улицам ходили угрюмые незнакомцы, в троллейбусе боялись заговорить на любом языке, чтобы не дошло до драки, – и такое случалось. Со стены театра торопливо снимали «Дядю Ваню» и заменяли его «Кирицей в провинции». В центр автобусами везли людей из пригородов, из дальних районов, они размахивали на площади триколорами и скандировали: «Чемодан – вокзал – Россия!», а красавица поэтесса Неонила Дани, по-русалочьи распустив волосы, вещала через динамики: я вымочу руки по локоть в крови, но выброшу вон оккупантов, пришельцев, манкуртов. А их квартиры, вместе с мебелью, сулила она, расчетливо делая ставку на крестьянскую прижимостость, отдам вам, румынам, настоящим хозяевам этой многострадальной земли. И тысячи глоток заходились в крике: вон манкуршть! дэ-мь эту квартиру, дэ-мь эту мебель! еу тоже вреу по локоть!

Еще недавно Мила восхищалась талантом Дани, бывала у нее дома, Неонила ворковала над ее большим животом и как опытная мать давала советы касательно беременности, родов и вскармливания. Но эта женщина, опьяненная властью над толпой и призывающая к резне, – кто она такая, откуда взялась?

Друзья-молдаване, которых Мила так любила, забыли вдруг русский язык и стали с открытой неприязнью отзываться обо всем русском, снисходительно приговаривая: «Ну, это к тебе не относится», – так, словно она тут же должна была отказаться от себя, от самой своей сущности и охотно поддакнуть.

Объективно говоря, русской Мила значилась только по документам. Один дед у нее был русин из Мырзен, другой молдаванин из Слободы-Городиште, одна бабка – болгарка, другая – помесь греков с поляками. Поздний ребенок, никого из них она не застала в живых, но втайне гордилась, что через них, неузнанных, отдаленных временем, маленький семейный эпос сообщается с великой историей. Выше на родословном дереве смутно просматривались украинские чумаки и сербские юнаки, и где-то там же, расправляя прокуренные усы, проходил мимо бывалый русский солдат Иван Турбинка.

До недавних пор национальный вопрос Милу, советскую девушку, особо не волновал. Уезжая в Питер или Москву, она ощущала себя молдаванкой. И – совершенно русской во время студенческой поездки в Польшу.

– А когда полетим на Марс, – смеялась она, – для них мы все поголовно будем землянами!

Сейчас было не до шуток. Мила страдала всякий раз, когда честили русских, или молдаван, или евреев, или бурят, или негров (тогда о политкорректности никто и не помышлял). И вспыхивала, и возмущалась, и получала, соответственно, плюхи – хорошо хоть словесные. Именно в те дни, когда со всех сторон неслись крики про чемоданы с вокзалами, она все больше находила опору в своей русской принадлежности. Это казалось естественным, правильным и возвращало душевные силы; внутри, в районе солнечного сплетения, как будто тайно распускался тот самый цветочек аленький, способный превратить чудище в нормального человека.

Однажды, спускаясь по лестнице, она увидела: сосед с верхнего этажа, Думитраш, неловко переминается у почтовых ящиков, ждет ее.

– Слушай, ты грамотная женщина... – понизив голос, сказал он. – Я вроде знаю свой язык, но что по-молдавски значит «манкурт»?

Мила сбивчиво принялась объяснять: слово не молдавское, это Чингиз Айтматов пересказал – или придумал? – легенду про рабов, которых жестокими пытками заставляли забыть свое прошлое, потерять себя, а по-русски таких называют иванами, родства не помнящими...

И так она продолжала бы и продолжала, пока Думитраш движением руки не остановил словесный поток.

– Понятно, – сказал он. – Чингиза этого я не знаю, но тебе верю. И вот что скажу – к нам эти сказки Шахерезады отношения не имеют.

Она подивилась: сосед не слыхал про Айтматова, но была благодарна – простыми словами он объединил себя с нею; мелочь, казалось бы, но среди всеобщего беснования и это ощущалось как поддержка.

В редакции двуязычной газеты, где Мила числилась корректором и за те же деньги выполняла работу литредактора и завотделом, ее и Софью Алексеевну, двух «русоаек», интеллигентно оберегали от враждебных вихрей. Один только сотрудник, Тудор Постелник, который принимал на веру все, что вливали в уши, и с некоторых пор вел свое происхождение от древних даков вкупе с древними римлянами, регулярно допытывался:

– Мила, ну почему, мэй-мэй-мэй, твои русские устроили геноцид моему народу?

Сама постановка вопроса исключала любую возможность разумного диалога. И Мила отчаялась доказать, что без «проклятых оккупантов» здесь ничего бы не строилось, не росло и не процветало. Нужны были не факты, не доводы разума, а подтверждения веры. Геноцид коренился у Тудора в голове, и никакой сапой выполоть его оттуда было нельзя. Он, наверно, и по сей день ищет во всех напастях руку Москвы. Этот безобидный, в общем-то, человек каждый день заставлял Милу мучительно сознавать ее чужеродность в единственно привычной жизни, ее сиротский статус на единственно родной земле. Капля точила камень, но она, вопреки всему, твердила, что никуда отсюда не уедет, сколько бы ни выпроваживали: отдать свое, кровное? И никто не знал, что ждет впереди. Блокада Юга, и толпы возбужденных волонтеров, и бои на Днестре, и тихая женщина, которую Мила звала не свекровью – мамой, выйдет в бендерский свой дворик и будет скошена автоматной очередью...

А Юра уехал. Вместе с сыном и новой женой, лет на десять моложе предыдущей. Тоненькая и нежная Виорика, молдавский аналог Наташи Ростовой, ничем не напоминала Раису и о Тавике заботилась куда лучше. Никто не хотел уезжать, но Юрка потерял работу. Ни московское техническое образование, ни внушительный послужной список, ни квалификация этой стране больше не требовались. Чтобы прокормить семью, он подался к челнокам, возил через Прут раздутые баулы в клетку и торговал в Яссах бабскими тряпками – так называл он свой товар, стыдясь, что вынужден заниматься коммерцией. Вот уж к чему давний Милочкин друг не чувствовал призвания и, между нами, не имел никаких способностей.

Уезжал он с тяжелым сердцем. Здесь оставались старики родители, и он планировал вызвать их сразу, как только сумеет обосноваться в другой стране.

Но разве затолкаешь в чемодан отчий дом в Театральном переулке или парк Пушкина с сонными мраморными львами, чьи спины за сто лет до блеска отполированы младенческими попами? Старую Почту, Малую Малину, Пьяный Угол, плетеные вигвамы «Фулгушора» и все достопамятные подворотни старого Кишинева... И памятник Штефану чел Маре, честному вдовцу, еще не обвенчанному с безумной в гордыне своей Неонилой... А помнишь старушку у театра Чехова? – в обмен на пустую бутылку она выдавала штопор и граненый стаканчик. Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна, и Австралия с Новой Зеландией тоже, но не прожить без Комсомольского озера осенью... Такие примерно откровения бормотал Миле в ухо подвыпивший Юрик к исходу своей отвальной.

Ванечка-Октавиан смотрел десятый сон, а прелестная Виоричка стоически улыбалась обиженными губами. Ее бесило, что муж, как она полагала, подбивает клинья к чужой бабе. Если уж искать недостатки у этого ангела, вот оно – ревность, зеленоглазое чудовище, накатывающее из мрака свободным такси. Знала бы ты, повторяла про себя Мила, знала бы ты, но нет, ты мне, во-первых, нравишься, а во-вторых и главных – пусть мои тайны умрут со мной, никто никогда у меня не отнимет кровного моего.

В открытую балконную дверь вливалась вечерняя прохлада, пора было по домам, а ей добираться на другой конец города, где давно уже спят в обнимку старая с малой, но все, не сговариваясь, оттягивали и оттягивали минуту прощания, и казалось, что видимся мы в этой жизни последний раз. ■



Серия «Библиотека прозы Каменного пояса» Л.И.Чумичёв «Довелось увидеть и услышать...»

Из предисловия: «А жил он ярко и любил жарко. Любил свою жену, очень – своих детей, еще больше – своих внуков. А родителей своих просто обожал. Хотя слово «обожал» вовсе не из его лексикона, но только оно достаточно точно выражает его чувства к ним.

Еще он любил друзей, любил женщин. Любил рыбалку. Свой Таватуй. Урал. Россию. Любил, как выражаются иногда совсем по-барски, «простых людей». Он знал, что они совсем не так просты, как кажутся. Очень часто они гораздо интереснее, чем иной интеллигент, чью душу заменил чистый разум, заимствованный из прочитанных книг. Книги он, кстати, тоже любил. Но только хорошие. Любил славно выпить и вкусно закусить. Когда было чем.

Не любил всех и всяческих начальников и вождей. Ненавидел стукачей и фанфаронов. Он много чего не любил. Но любил гораздо больше.

И все же больше всего он любил литературу. Писательство. Он писал всегда. Днем, ночью, здоровый, больной, трезвый и не очень.

Перед тобой, читатель, книга, которую он написал. Прочти ее, и ты узнаешь этого хорошего человека и настоящего русского писателя почти так же, как знали его друзья. Как знал его я...»

Геннадий Бокарев, писатель, заслуженный деятель искусств России.

РАССКАЗЫ

Анатолий ЛАБУНСКИЙ

Родился в 1947 году в Вене (Австрия) в семье военнослужащего. Школу окончил на Украине. В Молдавии – с 1965 года. Военную службу проходил на кораблях Черноморского флота. Окончил Кишиневский государственный институт искусств. Режиссер. Работал в учреждениях культуры и искусства Кишинева. Мастер прикладного искусства. Участник международных выставок в Киеве, Санкт-Петербурге и Камчии (Болгария). Член Союза писателей России и Ассоциации русских писателей Республики Молдова. Автор нескольких книг.

КАРАСЬ

Помирать Леня затеял ранней весной.

В Кишиневе в начале марта еще продолжались ночные заморозки, зато днем яркое весеннее солнышко прогревало воздух до десяти-пятнадцати градусов. Все, на что только ни падал взгляд, напряглось в ожидании обновления природы. Кто должен был дать команду к началу этого обновления или сделать разрешающую отмашку, было неизвестно, но набухшие до неприличия почки сирени были готовы взорваться от первого прикосновения, рынки пропахли чесночным запахом черемши, а на улицах появились воровато оглядывающиеся тетки с букетиками первых пролесков и счастливые девушки с веточками мимозы.

Первый звонок от Эдика, старшего сына Лени, раздался сразу после Международного женского дня. Оказалось, что его отец уже неделю находится в больнице города Беер-Шева. Два года назад, уезжая из Молдавии на постоянное место жительства в Израиль, Леня и представить себе не мог, что отопления в квартирах Земли Обетованной не предусмотрено. Их просто не отапливают. Тем не менее в этой стране зиму никто не отменял, и в результате шестидесятивосьмилетний Леня оказался в больнице с подозрением на пневмонию.

Через неделю Эдик сообщил, что результаты обследования его отца оказались, мягко говоря, неутешительными. У моего старшего брата был обнаружен рак легкого.

Подобный исход был ожидаемым.

Сказать, что брат был заядлым курильщиком, было бы недостаточно. Этот невольник табака пристрастился к дымящемуся зелью еще во втором классе средней школы. Уверяю вас, что курение в те времена у дворовой ребятни было занятием не только модным, но и престижным.

Три года назад закончилась Вторая мировая война, полстраны донашивало военную форму и позвякивало медалями и орденами. Не было двора, в котором по вечерам не встречались фронтовики, разминающие пальцами папиросы, ловко сооружающие газетные самокрутки и «козьи ножки» и рассказывающие фронтовые байки.

Трудно было, глядя на них, не начать им подражать. Тем более что в каждом захудалом магазинчике вдоволь было дешевых сигарет с привлекательными названиями «Друг», «Спорт», «Новость» и безумно крепких, раздирающих грудь папирос «Север» и «Байкал».

Из своих шестидесятивосьми лет Леня прокурил шестьдесят.

Когда он изредка наведывался к нам в гости, моя жена стремилась уложить всех пораньше спать. На это была веская причина. К половине шестого утра (плюс-минус полчаса) Леня просыпался, и его высокохудожественный, насыщенный витиеватыми вариациями кашель лишал ни в чем не повинных жильцов несчастной девятиэтажки самого сладкого утреннего сна.

И вот...

Рак легкого, к которому так настойчиво стремился мой брат, в несметных количествах поглощая табачный дым, стал реальностью...

Чудовищная, беспощадная, не оставляющая шансов, не призна-

ющая альтернатив болезнь, одно упоминание о которой заставляло суеверно стучать по дереву, сплевывать и креститься, поселилась рядом. Пусть в другой стране, пусть за тысячи километров, и, тем не менее, рядом, ибо она нашла местечко в груди моего старшего брата, человека одной со мной крови, который заменил мне отца, поставил на ноги и многим пожертвовал ради меня.

Подобные известия всегда поражают, и я не стал исключением. Известие потрясло! Оно было неожиданным, ошеломляющим. Какая разница, курил Леня или нет?! Два года назад он уезжал крепким мужиком! Ну ладно, ну добивал он седьмой десяток лет! Ну и что? Его густой, почти без седины, черной шевелюры хватило бы на троих, а прокуренные, желтые зубы не знали стоматолога. В его кулаке можно было спрятать пивную кружку!.. Господи, да о чем я говорю...

Два года назад я провожал в аэропорту здорового, внушительных размеров мужчину в возрасте, который иначе как солидным не назовешь, и вдруг...

Ощущение надвигающейся трагедии не оставляло меня, оно усугублялось обидой, горечью, досадой и несправедливостью... Да, именно несправедливостью! Ведь Леня уехал в Израиль по приглашению живущего там сына с единственной целью – вылечить ослепшую в результате запущенного диабета жену Тамару. Вернуть зрение ей не удалось, а вот сам Леня... Почему человек, старающийся для кого-то, страдает в первую очередь?

Обуреваемый мрачными чувствами, я взялся за оформление визы.

– С какой целью вы собираетесь посетить Израиль? – консульский клерк задал традиционный для таких ситуаций вопрос.

– У меня брат умирает от рака. Я хочу проститься с ним, поговорить, подержать его за руку. Может быть, это облегчит его страдания...

– Ну, не стоит драматизировать события. Здравоохранение нашей страны пользуется заслуженным авторитетом во всем мире. Я думаю, выводы о болезни вашего брата делать рано.

Уверенный тон и доброжелательность, с которой была произнесена эта фраза, вселили надежду и подействовали успокаивающе.

На треть заполненный толстомордый «Боинг» уносил меня к моему больному Лене.

Более пятнадцати лет я не пользовался услугами авиакомпаний, а посему пресловутый американский авиалайнер произвел на меня такое впечатление, которое мог произвести лендлизовский американский «Студебеккер» на водителя советской фронтовой «полуторки». Смешно было бы рассказывать современному читателю, что такое «Боинг». Проще было бы объяснить, что в наше с Леней время не каждый аэропорт располагал «ИЛами» или «ТУ», а основные пассажирские перевозки осуществлялись «летающими маршрутками», ласково называемыми «Аннушками». «АН-24» в воздухе трясло, как настоящее маршрутное такси на проселочной дороге, а дальний перелет в нем можно было выдержать только при наличии немалого запаса спиртного. Трапом для пассажиров у «Аннушки» служила нижняя часть хвоста, гостеприимно падающая перед пассажирами на покрытие аэродрома, а посадка в самолет скорее напоминала коллективный поход под хвост курице, широко растопырившей свои крылья.

Весенний день был празднично светел... Воздух, как хорошо вымытое оконное стекло, был чист и прозрачен. Взлетевший лайнер, слегка накренившись на бок и описав огромную дугу, лег на курс. В момент разворота иллюминатор заслонило, расстелившееся до самого горизонта, огромное лоскутное одеяло земельных наделов, так называемых «квот», коими демократы осчастливили сограждан, лишенных возможности эти квоты обрабатывать.

Лоскуты... Заплатки...

Вспомнилось детство и прислонившийся к стене спящий Леня, сидящий поперек кровати в накинутом на плечи лоскутном одеяле.

Восемнадцатилетний Леня, окончив школу, работал трактористом в колхозе и был кормильцем семьи. Восемнадцать лет... Это тот возраст, когда время тратится бесконтрольно и кажется, что для отдыха хватит и получаса. Со свиданий Леня прибегал и в два, а иногда и в три часа ночи.

В то утро мама, приготовив небогатый завтрак, на заре разбудила два часа назад пришедшего со свидания «главу семьи» и, убедившись, что он проснулся, взяла тяпку и ушла в огород пропалывать картошку. Через час, заглянув в дом, она увидела сидящего с поджатыми под себя ногами, уронившего голову на грудь, мирно посапывающего сына-гулену. Через минуту, отбросив в сторону лоскутное одеяло, кормилец умчался в тракторную бригаду, где уже давно рычали двигатели машин.

Почему я это вспомнил?.. Не знаю... Хотя...

В последние дни моя память, напоминающая старый, захламленный всяческими ненужностями чердак, стала выплескивать разного рода сюжеты, в которых так или иначе одним из героев обязательно был Леня.

Вспомнилось, как Леня учил меня играть на мандолине. Бедная мама, из последних сил старавшаяся поставить на ноги троих сыновей, наперекор обстоятельствам, загнавшим ее в глухую украинскую деревню, где словосочетание «музыкальная школа» было неведомо никому, всячески стремилась, чтобы ее дети умели видеть мир прекрасным. Обрекая себя на дополнительные лишения, она каким-то чудом накопила денег и, очень довольная собой, купила гитару и мандолину. Однако надежды на то, что долгими зимними вечерами ее слух будет услаждать струнный дуэт, исполняющий любимые романсы, не оправдались. У Алика не оказалось никаких музыкальных наклонностей. Зато Леня, обладавший абсолютным слухом, очень быстро освоил инструменты и исподволь начал подучивать и меня...

Теснясь и набегая друг на друга, обрывки воспоминаний явственно проносились в воображе-

нии, в мельчайших подробностях восстанавливая, казалось бы, навсегда стертые из памяти сюжеты. Странное дело, все всплывающие в сознании картинки были родом из детства...

Вот Леня учит меня надевать на коня уздечку... Вот мы гоним в ночное колхозных лошадей... Вот он показывает мне, как разжечь костер одной спичкой... как сделать спички непромокаемыми... как...

Толкающие по проходу большую тележку стюардессы на минуту отвлекли меня от картин прошлого. Есть не хотелось, и я попросил минеральной воды.

В иллюминаторе сияло солнце. Далеко-далеко внизу сине-голубой неподвижной простыней лежало море. Под самолетом, на синем фоне, пятнами размытой плесени висели два прозрачных, клочковатых облака. Убегая к горизонту, море теряло свой темно-синий цвет, становясь вначале светло-голубым, потом голубизна наполнялась серым туманом и, в конце концов, солнечное марево стирало линию горизонта, сливая море с небом воедино...

Если бы не чуть слышный гул двигателей и торчащее крыло, закрывающее половину видимой в иллюминаторе панорамы, могло показаться, что я вишу в корзине неподвижно парящего воздушного шара.

Море... Когда-то в детстве и вправду большое Ново-Покровское водохранилище казалось мне настоящим морем. Особенно большим оно становилось, когда разбуженный в четыре часа утра, с удочками на плече я семенил за широко шагающим Леней, чтобы успеть встретить утреннюю зорьку с уже заброшенными в воду снастями. Идти приходилось по заросшему камышом и буйным разнотравьем берегу. Если брюки старшего брата промокали от утренней росы до колен, то я приходил к месту лова мокрым по пояс и стучал зубами от холода до восхода солнца. Однако этому неудобству никто и никогда не придавал значения. Брюки можно было выкрутить, повесить на куст и при первой же поклевке надолго забыть о них.

На рыбалку со старшими братьями я ходил частенько, но один поход я запомнил надолго. Нет, не потому, что произошло нечто особенное. Просто подготовка к нему растянулась не на один день.

В то благословенное время, когда я учился, в школах работали десятки кружков и секций, в которых после уроков можно было заниматься интересным и любимым делом.

Я любил физику и очень увлекался ею.

Однажды в журнале «Юный техник» я нашел схему детекторного радиоприемника. Даже сегодня я остаюсь увлекающимся человеком, но тогда!.. Я просто заболел!.. Я «забеременел» идеей!..

Сегодня любой ребенок, располагая мобильным телефоном, имеет не только связь, но и радио, видео, Интернет, и уже трудно представить, что в середине прошлого века что-то могло быть по-другому. А я ни о чем, кроме самодельного радио, думать уже не мог.

За три недели приемник обрел реальное воплощение. Корпусом для него стал фанерный посылочный ящик, переменное сопротивление должно было справиться с настройкой, шкалою для которой служил обычный школьный транспортир. Сердцем радиоприемника стал ДЕТЕКТОР.

Я до сих пор не могу представить, кому это могло взбрести в голову?! В стеклянную пробирку необходимо было насыпать в равных частях серу и мелко нарубленный свинец, довести эту смесь на спиртовке до кипения, дать остыть и, разбив пробирку, извлечь получившийся кристалл. Это и был детектор, который закреплялся в корпусе, в него втыкалась игла с припаянным к ней проводом. Все! Надевай наушники и слушай...

Леня с улыбкой наблюдал за сопливым конструктором.

– А что, наш приемник уже не работает?

Да, у нас действительно был прекрасный «трофейный» радиоприемник «Олимпия», привезенный из Вены. Он работал очень хорошо. Но Леня не знал, что увлеченность его младшего брата была если не маниакальной, то фанатичной, это уж точно. Тем более, когда у него появлялась какая-либо цель.

А цель у меня была. Я мечтал пойти с Леней на рыбалку и в наушниках взмахивать удилищем. Это же чудо чудное! Настроиться на «Маяк» и ловить рыбу, слушая музыку, последние известия и сигналы точного времени.

А Леня все улыбался...

На испытаниях у меня из наушников раздалось шипение и невнятное бормотание, что вызвало у меня бурную радость. Я был уверен, что если я подключу антенну (журнал «Юный техник» требовал, чтобы антенна была не менее 80 метров длинной), то добьюсь устойчивого приема.

А Леня все улыбался...

В следующий раз, в предрассветных сумерках семеня за Леней, кроме удочек, прикормки, банки с червями, скудного завтрака, без которого мама не отпустила бы из дому, я тащил неудобно торчащий под мышкой фанерный ящик, называемый мною радиоприемником, и толстый моток медной проволоки от сгоревшего трансформатора, который обязан был стать необходимой мне антенной.

Добравшись наконец-то до места лова, мы закинули снасти. Леня всегда и все делал основательно, я же, торопливо размотав леску и кое-как нацепив червей на крючки, зашвырнул их в воду и, прижав концы удилищ большими гранитными булыжниками, принялся за установку антенны.

Надо было размотать и расстелить вдоль дамбы принесенный с собой моток, потом, взобравшись на склонившуюся над водой кудрявую вербу, закрепить один конец и, перебравшись на другую, натянуть между ними будущую антенну.

Рыбная ловля меня мало интересовала. Я хотел воплотить свою мечту и напялить на голову наушники.

Необходимых восьмидесяти метров моя «антенна» не набирала. Ветви соседних деревьев, раскачиваемые еле ощутимым ветерком, касались проволоки, что было

категорически недопустимо, и мешали ее натянуть.

Леня спокойно удил рыбу. Все чаще небольшие карасики, сверкнув золотым боком в лучах недавно взошедшего солнца, оказывались насаженными сквозь жабры на тонкий ивовый прутик. Изредка Леня сообщал:

– У тебя клюет...

Меня начинало злить и меланхолично-безучастное «У тебя клюет», и то, что с антенной ни черта не получалось, и что три недели восторженной работы, наполненной радостью творческого воодушевления, все явственнее обещали отправиться псу под хвост. Но более всего раздражала Ленина снисходительная улыбка. Один только раз Леня оторвал взгляд от поплавков и, оглянувшись назад, посмотрел на мои старания.

– Артель «Напрасный труд»! – Он отвернулся, прикурил и тут же подсек очередного карася.

Он не ошибся. Через полчаса мой пыл угас окончательно. Подсоединив так называемую «антенну» к радиоприемнику, я услышал в наушниках густое шипение. Это было полное разочарование... Радостное ожидание успеха сменилось унылой пустотой. Тогда я не понимал, что шипение в наушниках – это и был эфир, и дело было за наладкой. Но нет... Энтузиазм иссяк. Пар вышел...

Я вернулся к забытым удочкам. День не задался. Мало того, что мой радиотехнический гений потерпел фиаско, я ко всему не поймал ни одной рыбешки. Перед кошкой стыдно. Я обновил наживку на крючках и, забрасывая удочку, неловко поскользнулся на гранитных камнях и нечаянно столкнул в воду свой посылочный ящик, который последние три недели я называл радиоприемником. Однако неудавшаяся идея с выходом в эфир настолько опостылела, что я даже не попытался выловить из воды свое уродливое, неудачное детище.

Леня не торопясь подсекал и с завидной регулярностью вытаскивал рыбешек. Изредка поклевывало и у меня. Вдруг один из моих поплавков исчез под водой. Рывком подняв удочку, я выудил бьющегося в конвульсиях карася и комок спутавшейся, невесть откуда взявшейся лески.

Оказалось, что свою удочку я забросил слишком близко к Лениным. Карась, попавшийся на крючок моего брата, резко ушел в сторону, зацепил поводок моей удочки и, спутав обе снасти, был вытащен мною на берег. Пока я распутывал леску, Леня молча наблюдал за своими поплавками.

Распутав, наконец, непослушный комок, я отдал удочку брату. Невезучего карася я бросил в свое ведерко.

– На чьем крючке? – Леня, снисходительно улыбаясь, широко размахнулся и забросил удочку.

– На моем... – не моргнув глазом, ответил я.

...От Лени осталась половина.

Восторженные впечатления от аэропорта Бен-Гурион, калейдоскопически меняющиеся ландшафты (от пальм Тель-Авива до лунного, выгоревшего на солнце пейзажа в пригородах Беер-Шевы), невозмутимые верблюды, пасущиеся на обочине автобана, сказочные бедуины в традиционных одеждах из «Тысячи и одной ночи» – все это моментально испарилось при виде старшего брата.

Навстречу мне с трудом встал сильно ссутулившийся, исхудавший старик с осунувшимся лицом. Он тяжело, прерывисто дышал. От буйной шевелюры не осталось практически ничего. Вместо нее голову покрывала жиденькая седая поросль, через клочки которой отсвечивала желтизной кожа.

И все-таки это был Леня. Только его глаза оставались узнаваемо теплыми.

– Ну, здравствуй, брат... – знакомая улыбка скользнула по его лицу. Я не ожидал, что его голос окажется неожиданно зычным, таким же, каким был всегда.

В доме было шумно. Эдик с женой, приехавшая из другого города сестра моей жены Татьяна с сыном, и даже слепая Тамара суетились, накрывая стол. Всех интересовало: «Как там в Кишиневе?» Видно было, что все они до горечи истосковались по родине. Происходящее мне казалось странным. Ведь я приехал (прости меня, Господи!) попрощаться с больным братом, а тут – почти праздник... Но оказалось, что и для Лени мой приезд стал приятным событием, поднявшим ему настроение. Он посидел за столом, даже выпил пару рюмочек водки. Шутил...

Когда разъехались гости, все стало на свои места. В доме воцарилась угнетающая атмосфера безысходности. Здесь жили, а, точнее, доживали свой век два невеселых персонажа: заболевший раком легкого старик и ослепшая старуха. Их финалы были с изуверской беспощадностью, издевательски насмешливо выписаны самым талантливым и гораздым на выдумку драматургом по имени СУДЬБА.

С трудом передвигаясь вдоль стены, Леня умудрялся подать Тамаре обед, убрать и вымыть посуду. Днем он подолгу лежал, но вечером, не изменяя своей давней привычке, до поздней ночи смотрел (или делал вид, что смотрит) телевизор. Внешность, поведение, привычки – все изменилось в нем. Все, кроме одного! Ежечасно Леня, медленно добравшись до кухни, брал в руки свою верную сигарету и, высунувшись в отрытое окно, курил...

Бедная Тамара, лишенная возможности видеть, в каком состоянии находится ее муж и, будучи уверенной, что не все так плохо, раз он способен помочь, стремилась поддержать его незатейливой шуточкой: «Леня, ты еще не умер?»

Сын Эдик и невестка Мариша, работающая медсестрой, делали для него все, что могли, но силы были неравны.

Леня угасал с каждым днем. В конце концов, он слег.

Безразличное, равнодушное ко всему время, неумолимо и педантично делает свое дело. Незаметно, каким-то волшебным образом, секунда за секундой, день за днем, год за годом, подминая под себя будущее, превращает его в прошлое. Также незаметно ушел в небытие срок, отведенный мне для пребывания в Беер-Шеве.

Трудно забыть то утро, когда за мной пришли Марина и повзрослевшая Настя, Ленина внуч-

ка, чтобы отвезти меня в аэропорт Бен-Гурион.

Я вошел в спальню брата.

Леня не спал. Он лежал на спине и, не мигая, смотрел в потолок. Не знаю почему, но я очень осторожно, словно боясь разбудить его, присел рядом. Леня в спортивном костюме лежал поверх одеяла. Видимо, перед рассветом он выходил покурить.

Я взял его за руку. Его, некогда крупная кисть, кисть рабочего человека, широкая, натруженная, с рельефно выступающими венами, напоминала бледную, вытянутую кисть музыканта с длинными, нервно подрагивающими пальцами...

Странно... За все время моего пребывания здесь мы много и подолгу разговаривали обо всем, иногда о вещах незначительных. Часто просто болтали, как люди, у которых вся жизнь впереди. А вот сейчас, когда необходимо было сказать какие-то главные слова, когда брат, родная кровь, человек которого я уже никогда не увижу, в последний раз слышит меня – слова не шли... Их не было... Не было и комка в горле, мешающего говорить... Было удушающее ощущение неизбежности... В мозгу проявилось, всплыло, сгруппировалось воедино все, что нас связывало, все, что было между нами за эти долгие шестьдесят лет. Это ОНО вращалось и перетекало в сознании, как огромный сгусток плазмы, каждое мгновение вспыхивающий яркими кадрами тех или иных событий.

– А карась-то все-таки был твой... – я не узнал своего голоса.

Леня повернул ко мне удивленное лицо.

– Какой... карась? – от волнения его голос слегка сорвался.

– Да мы как-то с тобой на рыбалке лески спутали...

– Не помню... Рыбалок было много... – Леня вздохнул. Отсвет знакомой с детства улыбки промелькнул и погас. Ему явно не хотелось рыться в памяти. Он очень устал.

– Я тогда еще свой самопальный радиоприемник...

Я не договорил. Слова не шли... Навалилась непонятная тяжесть. Я буквально физически почувствовал, как все во мне обмякло, обвисло. Плечи, руки, шея, ослабев, устремились вниз, и не было сил с этим бороться.

Леня поднял оказавшуюся неожиданно сильной руку и, обхватив меня ладонью за шею, привлек к своей груди. И опять старший брат оказался более мудрым. Никаких слов и не надо было. На одно неуловимое мгновение стало легко, в душе промелькнуло мимолетное детское умиротворение. Так когда-то я тыкался носом в увешанную медалями грудь своего отца.

Но сейчас... Приникнув к Лениной груди, я почувствовал, что с ним сделала беспощадная болезнь. Некогда широкая, богатырская грудь моего старшего брата исчезла, и я лицом ощутил острый, как форштевень корабля, выдающийся вперед, твердый, как киль куриной грудки, остов.

Господи Боже! Ну, за что ты так?!.

– Прощай, брат...

Это я услышал не звуком... Мне показалось, что ЭТО прошептало затухающее сердце моего сильного духом, но... обреченного брата.

ОН ЕСТЬ!

Некий священник, один из героев незабываемого советского фильма «Берегись автомобиля», покупая у Юрия Деточкина краденную «Волгу», произносит сакраментальную фразу: «Одни верят, что Бог есть, другие верят, что его нету. И то, и другое недоказуемо!» Признаться, я всегда думал, что правы последние. Однако один случай заставил меня изменить свое мнение, и сегодня я, бывший коммунист с солидным партийным стажем, и бывший пропагандист высшего звена в сети партийного политпросвещения, авторитетно заявляю – Он есть!

Нет, я не «перекрасился» и не стал истинно верующим, воцерковленным прихожанином. Я не целовал руки священнику, как это сделал первый секретарь ЦК компартии Молдавии Мирча Снегур, в одночасье ставший президентом в 1990 году, я не устраивал шоу с сожжением собственного партийного билета перед камерами, следуя примеру небезызвестного Марка Захарова, я, подобно сельскому старосте Нечипору из «Свадьбы в Малиновке», не прятал, а при смене власти, не надевал снова красноармейскую буденовку. Каждым из них двигали обстоятельства. Снегуру надо было вести пребывающую в растерянности страну к неведомым целям. Захарову, вероятно, надо было уничтожить сведения о размере членских взносов, ибо, как говорят, честный коммунист обязан платить взносы даже со взятки. А староста Нечипор и того более – был беспартийным. По их пути я не пошел, и никого не осуждаю. Просто в силу сложившихся обстоятельств и под давлением очевидного у меня сложилось устойчивое мнение, что (я не знаю где, ну, скажем, «где-то там») Он есть!

Говорят: «Не поминай всуе...» В виду некоторой богобоязненности, появившейся к старости, этого имени я называть не стану. Просто буду говорить ОН.

А произошло все чудной молдавской осенью.

Наступило то время, когда бесчисленные, раскидистые орехи, растущие вдоль автомобильных дорог, переживали нашествие сборщиков урожая, а в молдавских селах у большинства мужчин, извлекающих молочно-восковое ядро грецкого ореха, ладони приобрели темно коричневый, йодистый цвет. Виноделы в ожидании поры, когда виноград наберет необходимое содержание сахара, с нетерпением поглядывали на тяжелые, лоснящиеся на солнце восковым налетом гроздья.

В церковь села Гырбовец, что под Бендерами, я приехал с тремя помощниками для установки изготовленного нами иконостаса. Внушительное здание храма окружало десятка два древних орехов, раскинувших свои кроны над аккуратно подстриженным газоном. У самых ворот церкви стоял добротный домишко на две комнаты с отдельными входами. В одной из них обитал, как это часто бывает, прибившийся к церкви бездомный мужик, принявший на себя

исполнение функций привратника, сторожа, дворника и истопника. В другой поселили нас.

Мне довелось принимать участие в оформлении многих возрождающихся церквей. Для того, чтобы иметь право, не оскорбляя чувств верующих, входить в алтарь, мне пришлось в сорок лет от роду принять обряд крещения. Сегодня, не кривя душой, я могу сказать, что нигде и никогда более не испытывал такого душевного подъема во время работы, как в сельской церкви.

Особое состояние души возникает совсем не потому, что на твою работу с множества икон требовательно смотрят суровые лики. Нет. По-другому быть не может, если просыпаясь ранним утром, ты оказываешься посреди звенящей сельской тишины и вдруг понимаешь, что эта тишина – обман. Просто ты не слышишь назойливого городского шума, а вся округа уже проснулась, и зажила своей размеренной, не крикливой жизнью. Солнце неторопливо растворяет ночную прохладу. В соседнем с церковью огороде мелькает белая косынка то и дело кланяющейся селянки, собирающей в подол свежие, огненно-красные помидоры. Во дворе через дорогу девушка процеживает через наброшенную на алюминиевый бидон марлю недавно выдоенное молоко. Патриархальную тишину утреннего села вдруг нарушает размеренный топот копыт черного в белых пятнах бычка, гонимого замурзанным, пару дней немытым пацаненком с хворостиной в руке, стремящимся догнать давно ушедшее стадо. Бесцеремонный топот бегущего бычка нарушает тонкую настройку благостной мелодии сельского утра. В ответ ему совершенно невпопад звучит срывающийся голос проспавшего утреннюю зорьку петуха.

Ежедневное утреннее омовение по пояс холодным хрусталем до святости прозрачной воды у церковного колодца дарило удивительную бодрость, настроение и способность без устали работать до глубокой ночи.

По расписанию, составленному церковным старостой, прихожане приносили нам пищу. Трудно переоценить старания простоватых сельских жителей, стремящихся угостить мастеров самым лучшим, что они могли предложить. Горячие, завернутые в полотенца плацынды, фаршированные перцы, голубцы, начиненные вместо капустного или виноградного листа в шкурку от куриной шейки. (Гырбовецкая птицефабрика-то рядом). Эти разносолы и их обилие приводили в растерянность, а искренность и тепло, с которыми несли их селяне, обезоруживали. Грудь распирало от того, с каким благоговением они смотрели на нас. «У вас золотые руки...» От этих слов кружилась голова, хотелось представить себя Микеланджело или Рафаэлем, но приближался срок, к которому мы обязались окончить работы, и тщеславие пришлось усмирить.

Церковный приживалка, обремененный большим количеством «должностей», но фактически остающийся бездельником, частенько заходил в храм, чтобы молча понаблюдать за нашей работой. Его тоскливый образ жизни обретал смысл, когда кто-то из прихожан, ведомый насущными требами, появлялся в церкви. Как принято, каждый приходил не с пустыми руками и не скудеющий продовольственный фонд сельского храма пополнялся бутылочкой подсолнечного масла или добрым ломтем сала, домашней выпечкой, а то и просто узелком пирожков. После внимательного осмотра батюшкой оставшиеся подношения поступали в распоряжение привратника. Особое удовольствие отражалось на его лице, когда в подношениях, что случалось очень часто, оказывалась пластиковая бутылка из-под минералки, наполненная домашним вином. С молчаливого согласия батюшки, привратник то и дело «причащался по чуть-чуть», после чего симулируя занятость, слонялся по двору. Когда витающий в храме неистребимый дух горящих лампад, тонко сдобренный запахом ладана, начинал приобретать устойчивый привкус перегара, можно было не сомневаться, что в церкви появился привратник.

С детства зная, что в чужой церкви свечи поправлять дело не благодарное, я не обращал внимания на бездельника. Но однажды один из моих помощников обдал меня неприятным дрожжевым выдохом. Так, подумал я, рыбак рыбака видит издалека. Мне пришлось поговорить со священником, в результате чего привратник получил нахлобучку и перестал надоедать нам своими визитами.

Работа спорилась, монтаж иконостаса был окончен с опережением графика. Пришло время приступать к золочению резных деталей и иконных рам, но оказалось, что лак, используемый для нанесения пленки, имитирующей золото, мы забыли в Кишиневе. Надо было ехать за ним.

С первыми петухами, когда я умывался у колодца, меня окликнул привратник. От неожиданности я вздрогнул и оглянулся. Было впечатление, что он поджидал меня. Его взгляд был преисполнен презрения. Поманив меня пальцем, он молча повернулся и не оглядываясь пошел вокруг церкви. Его уничтожающий взгляд и горделивое шествие впереди были настолько неожиданны, интригующи и непонятны, что я, даже не успев обтереться, закинул полотенце на плечо и засеменил за ним.

Обойдя церковь он остановился за ее алтарной частью и снова устремил на меня свой испепеляющий взгляд. Зная, что мой визави не владеет русским языком и задавать вопросы бессмысленно, я в недоумении стоял и щелкал глазами, как растерянный ребенок перед величественно строгим воспитателем. Наконец он молча поднял руку и своим корявым, давно не знавшим мыла перстом указал на окружающий церковь газон.

В двух метрах от асфальтированной дорожки, на которой стояли мы, украшая изумрудный травяной ковер, щедро усыпанный бриллиантовыми брызгами утренней росы, свидетельствуя о том, что недавно здесь побывал кто-то отличающийся хорошим пищеварением, вызывающей «колоколенкой» торчала кучка испражнений.

Первое недоумение от отсутствия причинно-следственной

связи моего утреннего туалета у колодца с увиденным мгновенно улетучилось после того, как привратник с царственным презрением на лице постучал своим обличительным указательным пальцем по собственной щеке. Подобная комбинация мимики и жеста в Молдове известна каждому. Ее смысл сводится к следующему: ты не способен краснеть, то есть, совести у тебя нет!

Трудно представить, какие чувства в одно короткое мгновение охватили меня. Горечь, обида, стыд, унижение... Дикий холод сковал все мое тело, покрывшееся противной гусиной кожей, с которой не вытертая мною колодезная вода мгновенно испарилась. Позор... позор... Грех-то какой! Неужели кто-то из моих ребят мог осквернить Храм Божий?! В моем воображении ослепительными вспышками проносились выразительные картины неминуемого. Доброжелательные прихожане, которые делились с нами, отдавая, может быть, последнее со своего скудного стола, которые только вчера величали нас мастерами и готовы были целовать руки, с позором и проклятиями вышвырнут нас из своего храма. Храма, куда каждый из них приносил исповедальную искренность самых сокровенных мыслей и выстраданные слова своих молитв.

Бездельник и выпивоха смотрел с брезгливой ненавистью. Он презирал меня... Я не знал, где взять слова. Даже промямлить что-то в ответ на безмолвное обвинение я не мог. Ясно одно: семиметровой высоты иконостас станет надгробьем над виртуальной могилой моего доброго имени, имени церковных дел мастера.

Желая унизить до конца, или пытаясь подвигнуть на уборку, привратник толкнул меня в спину. Чтобы не упасть я сделал два шага в направлении источника моих будущих неприятностей.

Как ни странно, но за этот толчок я должен благодарить подонка...

То, чего я не мог видеть стоя на дорожке, я увидел вблизи. Рядом с отходами человеческой жизнедеятельности, в траве лежал связанный кольцом коричневый шнурок от ботинок с нанизанными на него несколькими большими ключами, которые я не раз видел в руках стоящего за мной ублюдка. Моему сознанию вновь пришлось пережить взрыв чувств. Чувств совершенно противоположных. Гнев и возмущение захлестнули меня. Оказывается, приблуда, неизвестно при каких обстоятельствах разменявший свою жизнь и пригретый в церкви, движимый своими низменными интересами, решил отмстить за то, что его лишили собутыльника!

Я нагнулся и поднял связку. Увидев свои ключи подонок остолбенел. В мгновение ока его горделиво-презрительная мина сменилась растерянной физиономией жалкого, трусливо трясущегося негодяя.

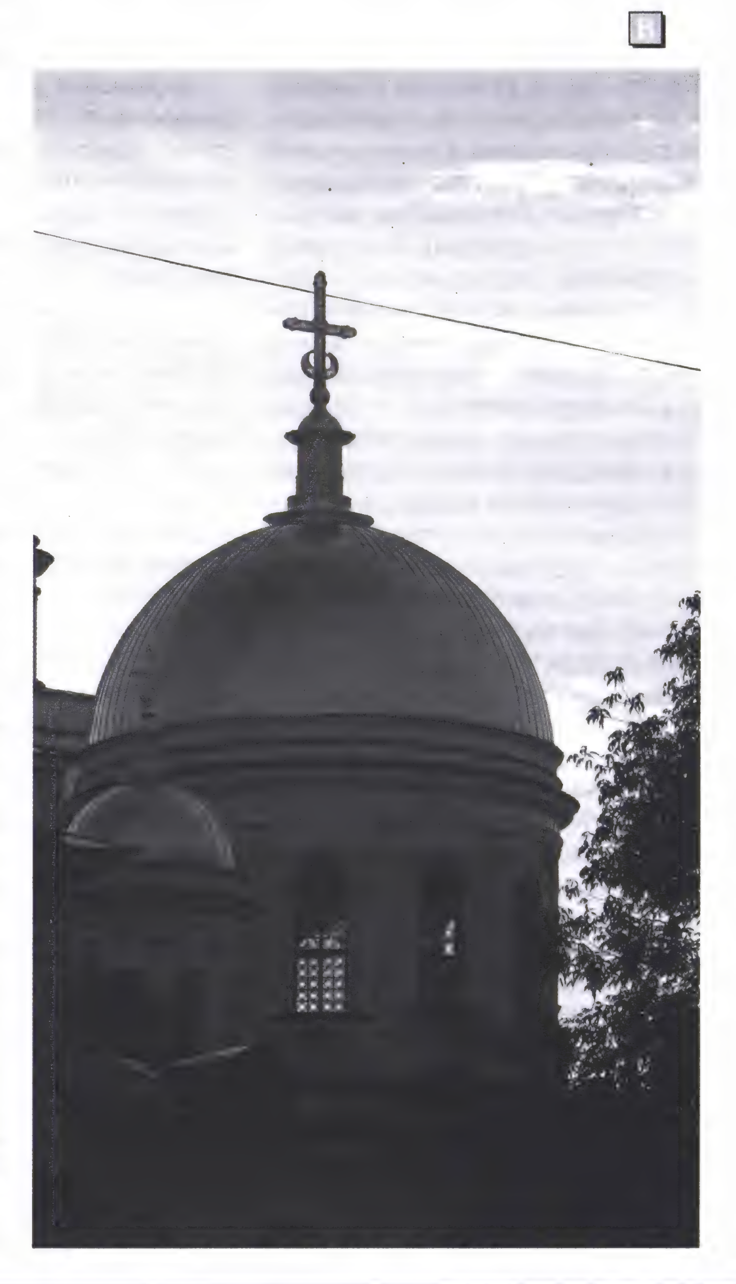
– Дай...

Автор дьявольской провокации заслуживал самой жестокой кары, но непонятные силы удержали меня от сиюминутной казни. Кипя от негодования, я повернулся и, зажав в руке подаренный провидением «вещдок», направился, как мы ее тогда называли, в «дворницкую». За моей спиной, гнусно подвывая, семенил разоблаченный провокатор.

Разбуженный мною помощник, ранее помогавший привратнику уничтожать винные подношения, получил ключи и инструкцию. Когда спустя три часа я вернулся из Кишинева, подонка в церкви уже не было.

В моей не столь праведной жизни было несколько случаев, когда в отношении меня должна была свершиться несправедливость, и каждый раз кто-то неизвестный, но могущественный, чудесным образом выводил меня из-под удара. С некоторых пор я уже не пытаюсь отгадать, кто это. Я знаю... Он!

«Не поминай в суе имени Господа»... Эта фраза сейчас звучит у меня в сознании, потому что, упомянув его в контексте не очень изысканного рассказа, я рисковал вызвать негодование читателя и даже обвинение в богохульстве. И тем не менее я это сделал, ведь я не обращался к небесам за помощью, а восстановить справедливость ОН решил сам. А если так, то казнить меня или миловать решать только Ему.



РАССКАЗЫ

Инна СИМХОВИЧ

Родилась в Молдавии, в г. Бельцы. Окончила Ленинградский институт культуры, отделение библиографии и библиотековедения. Работала в Бельцкой городской централизованной библиотечной системе. Участвовала в Бельцком молодежном лито «Мэрцишор», руководителем которого был известный поэт и писатель Владимир Марфин. Первые стихи были напечатаны в городской газете. Живет в Израиле.

ОТСВЕТ

Он сидел напротив меня – в инвалидной коляске.

Постаревший и усталый. Там, в своем далеке. Смотрел мне прямо в глаза, улыбаясь смущенно и чуть вопросительно...

Что хотел спросить он?

Мне виделся в его глазах мерцающий отсвет того – нашего времени. И рука его замерла в прощальном жесте. А может быть, этот жест выражал что-то другое...

Несколько дней назад, сидя у компьютера, я вдруг увидела в уголке экрана мелькающий желтый конвертик. Это оказалось сообщение от сына моего друга.

– Хотите посмотреть видео с папой? – было написано в сообщении. – Я снял его в январе.

– Да! – ответила я. – Конечно!

С Сашей мы подружились давно. Еще на литобъединении. И продолжали общаться, когда литобъединения уже не существовало...

Он изредка приходил ко мне в библиотеку, сидел в читальном зале, работая над своими рассказами. Иногда досиживал до закрытия, а потом шел меня провожать. И на этом коротком отрезке дороги мы рассказывали друг другу о себе.

Однажды мы с Сашей случайно столкнулись у Дворца пионеров. Он вытащил из портфеля свой новый, незаконченный рассказ и стал читать мне. Это были воспоминания из его детства. О фотографии, сделанной за несколько дней до войны...

Он читал своим негромким невыразительным голосом, а в моей душе рождалась пронизывающая горечь. И сострадание. И я невольно оказалась в том летнем утре, я видела глаза и руки, сидящих перед объективом людей. Смотрящих вперед, и даже не предполагающих о том, что с ними произойдет завтра...

Эта вещь, написанная простым языком, но такая пронзительная и печальная, произвела на меня сильное впечатление.

Оставалось дописать совсем немного...

Но вскоре закрутился водоворот событий, затянувший в свою воронку многое запланированное и несбывшееся...

А потом Саша уехал. И долгое время я ничего не знала о его жизни.

А когда я снова услышала его голос – он был усталым и безразличным.

За все годы, прожитые здесь, мы так ни разу и не встретились. Я никогда больше не видела его с тех далеких 80-х. Не видела его изменившимся, постаревшим.

Телефонные разговоры заменили нам встречи. Мы общались почти ежедневно. Он снова провожал меня, вернее, сопровождал. По кухне – когда я готовила. По квартире – когда я убирала. Мы говорили об общих знакомых, о нашем городе, о новых сюжетах для его рассказов...

Какой любовью были пропитаны все его слова о городе! Какие эпитеты находил он! Благодаря ему, после воспоминаний о давних событиях, людях – забытых, но живущих в уголке нашей памяти, становилось так тепло на сердце...

Его рассказы понемногу печатали в русских газетах. Ему помогали друзья, живущие здесь. Был, наконец, закончен и напечатан его рассказ «Фотография».

Еще он очень любил знакомить людей, общающихся с ним, но друг друга не знающих. Он настаивал на

этих знакомствах, иногда раздражал своей настырностью. Но очень часто оказывался прав, подарив нам верных и незаменимых друзей.

Иногда он загорался какой-нибудь идеей. Чаще всего – несбыточной. Что мог сделать он, постоянно сидящий в своих четырех стенах. Но благодаря ему, вышла все-таки книга о нашем городе, в которой приняли участие многие бельчане…

Как он мечтал о ней! Он звонил, уговаривал, торопил. И авторов, и редактора этой книги. Он боялся, что не успеет.

Успел.

Помню, как он тревожился, что не успеет передать с кем-то, летящим в Молдавию, баночку кофе для своего приятеля.

Успел.

Не успел он лишь во всей этой суматошной жизни насладиться ее радостью. И любовью.

Не успел увидеть СВОЮ книгу, о которой мечтал.

Неожиданно и тихо он оставил нас. Незаметно, как и жил. Мы так ни разу не встретились. С тех самых 80-х.

– Хотите посмотреть видео с папой?

– Да, да! Конечно!

...На узенькой улочке, возле видавшей виды, обшарпанной скамейки стояла инвалидная коляска. Какой-то человек, в кепке, надвинутой на глаза, сидел в ней.

– Папа, – раздался голос, – посмотри сюда!

Человек встревожено обернулся. Это был старый и больной человек.

– Посмотри сюда!

Он приподнял кепку и посмотрел в камеру. Прямо мне в глаза.

Это был Саша. Я не видела его с конца 80-х.

Он о чем-то неслышно спросил.

– Нет, – раздался голос сына, – не волнуйся, я никому не пошлю эту запись. Улыбнись!

И он улыбнулся. Смущенно и вопросительно.

О чем он хотел спросить?

В глазах его был мерцающий отсвет того – нашего времени. И еще была в них надежда…

И он поднял руку, посылая мне свой привет оттуда – из своего далека. Прощаясь.

А может быть, этот жест выражал что-то другое?

ОРАНЖЕВЫЙ ПРАЗДНИК

Ранним субботним утром я вышла на прогулку с собакой. Хотелось спать...

Но такова участь всех собачников – в любой день недели, будний ли, выходной – нужно проснуться рано. И идти!

Было прохладно. Только редкие, почти неощутимые струйки тепла проникали в воздух и слегка касались лица, вызывая какое-то неясно-приятное ощущение. А может быть, это было предчувствие чего-то хорошего...

Я шла за собакой, было безлюдно. Только чуть поодаль, за низким забором, какой-то человек мыл машину. Мы приблизились. Мой пес остановился у кустика, обнюхивая его. Остановилась и я. Взгляд мой упал на машину. Она блестела под струями воды, в ее оранжевых боках отсвечивало поднявшееся только что раннее солнце. И искрящиеся оранжевые брызги летели во все стороны…

И давний отзвук прошлого вдруг слабо зазвучал в моей памяти. Далекий, приятный, но забытый. Я силилась вспомнить. Вновь посмотрела на машину. Она была такая яркая, оранжевая, праздничная... Праздничная! Да, праздничная! И я вспомнила...

Мне было тогда лет тринадцать. Я училась в школе. И еще ходила во Дворец пионеров в кружок художественного чтения. Вела его Мария Матвеевна. Она заставляла нас говорить и читать с выражением. Мы учили наизусть, а потом декламировали ей стихи своих любимых поэтов.

Я очень любила ходить туда, мне нравилось подниматься по старой деревянной лестнице в небольшую комнату, а потом сидеть и слушать, как читают другие. И нравилось, боясь и замирая, ждать своей очереди...

Только одно обстоятельство немного портило мне настроение. Уж очень я была просто одета. У меня была обыкновенная школьная форма. Из магазина. Обыкновенные – оттуда же – штапельные фартуки (гладь – не гладь, а вид убогий и помятый) – белый и черный. Какие-то невыразительные одежки...

Некоторые мои одноклассницы и подружки по Дворцу пионеров были одеты понаряднее, да и вели себя смелее. А я временами чувствовала себя очень неуверенно и скованно. Именно по этой причине.

Но вот наступила весна. И мне купили новое пальто! Летнее. Оно вообще-то, было демисезонное, но мы говорили: «Летнее, зимнее».

Оно было оранжевое! Прекрасное! Нарядное!

Цвет был такой яркий и в то же время мягкий. Такой добрый и такой мой!

Высокий воротник можно было расстегнуть, чтобы виден был небрежно повязанный шарфик, а можно было, и поднять его и выглядеть такой модной!

У пальто были широкие (в меру) рукава – тоже модные!

Оно было не длинным, не коротким... Оно было моим.

Но что было в нем самым замечательным – так это пуговицы! Они были большие, оранжевые, с каким-то чуть заметным узором. Они светились изнутри. Таким глубоким, мягким, волшебным светом... Я так восхищалась этими пуговицами!

Я была счастлива! В моей жизни наступил праздник!

Как я уже говорила, была весна. Сняв с себя тяжелую зимнюю одежду, неуклюжие сапоги – в легких туфлях, я шла по улице. Ах, как гордо я шла по улице в своем новом оранжевом пальто! Каким необыкновенным и звонким был звук моих шагов! Только весной так радостно и гулко звучат шаги! Вы ведь тоже помните это?!

Как мне было приятно! Девчонки смотрели мне вслед. И даже, кажется, мальчики.

В моей душе играла музыка!

Той весной я была смелее, умнее, и красивее. Я лучше училась. И стихи я читала с большим выражением...

...Произошло какое-то движение. Подул ветерок. Стало зябко... Я подняла воротник своего пальто и мягкая оранжевая ткань при-

коснулась к щеке. Пальто облегало меня... А пальцы мои, вспомнив забытое движение, машинально нащупывали пуговицы, пытаясь их застегнуть...

Возвратившись в реальное утро, я опустила воротник своей куртки... Увидела давешний забор, машину за ним. И свою собаку, натянувшую поводок и стремящуюся вперед...

И мы пошли, продолжая прогулку. Было прекрасное субботнее утро. И те недавние, едва ощутимые струйки тепла превратились в прозрачный, ласковый поток воздуха. Он согревал меня. И снова было счастье. Пришедшее ко мне из прошлого. Недосягаемого и такого близкого. Где остался мой праздник – любимое оранжевое пальто...

КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА

– Конечная остановка! Троллейбус идет в парк, – услышала Алена и открыла глаза. За окном сквозь тучи светила луна, летали редкие снежинки, все казалось каким-то нереальным...

«Как же это я проспала свою остановку, как теперь добираться до гостиницы?» – испуганно подумала девушка. Она приехала в этот город лишь несколько дней назад.

– Гражданка, – сказал в микрофон водитель, – выходите! Дальше не едем!

«Ничего страшного, – решила Алена, – сейчас поймаю такси. Стоит ли волноваться!» И, подхватив свою сумку на колесиках, вышла на улицу... Двери троллейбуса закрылись, и он поехал по дороге, светясь слабым светом, а потом и совсем исчез в темном зимнем воздухе. Алена огляделась, подошла к обочине и стала поджидать такси. Вдоль дороги, растворяясь во тьме, слабо горели фонари. Где-то, очень далеко, мелькали огоньки – то ли светящиеся окна, то ли звездное небо, сливающееся на горизонте с сумраком ночи...

Такси все не было. Становилось зябко. Девушка вытащила из кармана телефон, решив как-то дозвониться до справочной. Телефон не работал... Из туч вышла луна. Она была огромной и казалась очень близкой. В ее свете, справа от дороги, возник небольшой домик, не замеченный Аленой раньше. В домике горели окна, а под самой крышей раскачивался от ветра фонарь. Казалось, что и сам домик покачивается и висит над землей. Опять промелькнуло ощущение нереальности... Постояв еще немного и окончательно замерзнув, Алена решилась, наконец, попросить помощи у хозяев домика. Перейдя дорогу, она направилась туда. Чем ближе она подходила, тем тревожнее становилось на душе. Какая-то птица захлопала крыльями и тенью промелькнула над домом. Да и дорога под ногами стала скользкой и ненадежной. Подойдя поближе, Алена в изумлении остановилась: избушка – а это была именно избушка – действительно покачивалась. Она держалась на огромной ветке, вцепившись в нее большими птичьими лапами! К ветке вели обледеневшие и засыпанные снегом ступени... Девушка испуганно попятилась, но за спиной вдруг оказалась пустота. Исчезли и дорога, и остановка, и огоньки... На ветке неожиданно появился черный кот, он направился к Алене, затем, мяукнув, развернулся и начал подниматься к двери избушки, как бы зовя за собой. Еще раз, безнадежно оглянувшись, Алена начала подниматься по ступеням. Неожиданно дверь открылась.

– О, – раздался старческий голос, – наконец-то русским духом повеяло! Заходи, красавица!

Посреди комнаты, тяжело опираясь на костыль, стояла растрепанная, неопрятная старуха.

– Давно я никого не привечала!

– Извините, пожалуйста, – сказала Алена, – я никак не могу добраться до города. Троллейбус ушел в парк и телефон у меня отключился. Не разрешите ли вы мне позвонить от вас, чтобы вызвать такси?

– Кто такой этот троллейбус? – спросила старушка. – И почему он ушел один? Он же заблудится в лесу, дурень! А, впрочем, мне и тебя достаточно. Сейчас истоплю баньку.

– Зачем баньку, – испугалась Алена, – мне бы только позвонить...

– Вот заладила – позвонить, позвонить! Нет тут у нас ни церкви, ни колокола. Здесь же только нечисть всякая водится, к чему колокол-то? В баньке ты попаришься, отдохнешь, а там поглядим...

Кряхтя и охая, старушка отправилась растапливать баньку. Расстроенная Алена, оставив в углу свою сумку, сняла куртку и присела на сундук, стоящий рядом с печкой. Кот неотрывно следил за ней.

«Куда же это я попала, – думала Алена. – Избушка какая-то странная, ноги куриные... Избушка на курьих ножках! Сказка! Точно! Там еще жила Баба Яга! Старая сказка. Но этого же не может быть! Бред какой-то. Баба Яга... Глупости! Нет Бабы Яги! А кто же тогда там, за стеной, гремит тазами – баню для меня готовит? О Боже!»

Алена, схватив куртку, бросилась к выходу и, отпихнув кинувшегося ей под ноги кота, распахнула дверь. Перед ней был непроходимый лес. Высокие, мрачные деревья с переплетенными толстыми ветками скрипели и гнулись от ветра. Над ними метались большие птицы... Алене стало жутко, она отпрянула от двери.

За спиной ее раздался голос:

– Куда это ты собралась, девица-красавица? Банька готова! Иди-ка, мойся!

Но вдруг, охнув, старушка осела на пол. Костыль с грохотом упал.

– Бабушка, что с вами? – бросилась к старушке Алена.

– Да нога, будь она неладна! Уже сколько годков-то болит – совсем терпежу нету. А все после драки с Лешим... Окаянный!

Под охи и стенания Бабы Яги, Алена довела ее до топчана и велела разуть ногу, чтобы осмотреть ее. А старушка горестно продолжала:

– Совсем сил нет. И по избе хожу еле-еле, а уж выйти куда – так совсем никак... Спасибо, хоть кот помогает. Но иногда так загуляет, что неделю не докричишься...

Кот невнятно мурлыкнул.

– Но ведь и ему иногда погулять хочется. И воздухом подышать – заступилась за кота Алена.

– Муррρси... – сказал кот.

– Бабушка, что же вы себя и здоровье свое так запустили? – после осмотра ноги сказала Алена, – Ну-ка, пошли, попаримся!

Она подхватила артачащуюся старуху и повела ее в баньку...

После купания Баба Яга, причесанная и аккуратно одетая, превратилась в румяную симпатичную женщину. Рана на ноге, смазанная заживляющей мазью, нашедшейся в сумке девушки, исцелялась прямо на глазах...

Они сидели за столом, пили благоухающий, настоянный на лесных травах чай и беседовали.

– Как же мне отблагодарить тебя, Аленушка? – спросила бабушка Яга. – Нога совсем уже не болит. И на душе так легко стало! Почему-то захотелось добро делать...

– Помогите мне выбраться отсюда, бабушка. Мне в гостиницу попасть нужно...

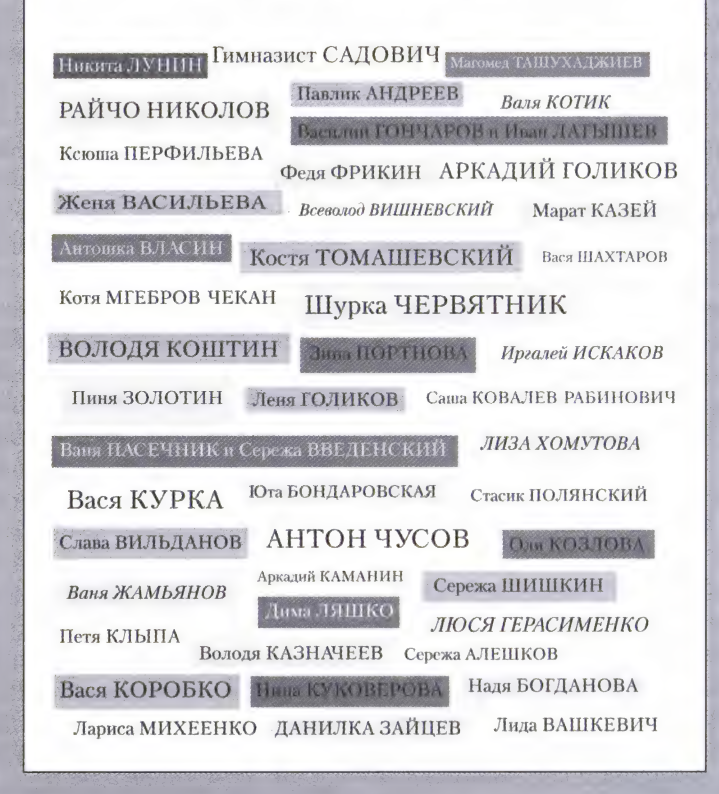
– Эх, – вздохнула старушка, – как не хочу я с тобой расставаться! Оставайся! Мы славно бы тут зажили... Я тебя бы с нечистью... тьфу, с друзьями своими познакомила, мы вечерами в карты бы играли... Ну, да ладно, ничего не поделаешь. Вот тебе клубочек шерсти. Выйдешь из избушки – кинь его перед собой. Расступятся деревья. Появится светлая дорожка. Она-то тебя и выведет куда нужно. А меня, старую, прости, я ведь сначала недоброе задумала...

Подошел кот и сказал:

– Девушка, выходите! Конечная остановка! Троллейбус следует в парк!

Алена открыла глаза. Рука ее сжимала клубочек шерсти. А за окном троллейбуса сквозь тучи светила луна, летали редкие снежинки.

И все казалось каким-то нереальным...



Эта книга посвящена юным героям нашего Отечества: ребятам и младшего возраста, и уже почти взрослым, 16-летним, жившим в различные исторические эпохи – начиная с X века до наших дней. Среди них – будущие правители земли Русской, юные солдаты и офицеры, а также самые обычные дети различных национальностей. Одни из них стали героями войн, другие совершили подвиги в мирное время – в родном селе, на улице своего города, даже в своем доме. А так как подвиг всегда связан с опасностью, порой со смертельной, то, к сожалению, многие из них навсегда остались юными... Но, как сказано в Священном Писании, «нет больше любви, чем положить жизнь свою за други своя» – то есть нет большей любви к людям, чем отдать за них свою жизнь. Ведь жизнь – это всегда выбор, и каждый человек делает его самостоятельно: как и для чего жить, какой след, какую память оставить о себе на земле.

Кто-то из наших героев впоследствии прославился другими делами, достиг немалых жизненных высот, а для кого-то именно детский подвиг стал самым ярким событием всей жизни – быть может, очень даже долгой, ее звездным часом. Рассказывая о юных героях, мы также говорим об истории всей нашей страны, в которую вписаны их подвиги. Историю, как известно, делают своими поступками люди, а потому книга «Юные герои Отечества» адресована каждому, кто интересуется историей нашей страны, кому небезразличны ее настоящее и будущее.

ХРОНИКИ МОЕГО ДВОРА



Борис КЛЕТИНИЧ

Родился в Кишиневе. Литератор, певец. Учился во ВГИКе, служил в армии, работал на киностудии «Молдова-фильм». Автор сценария художественного фильма «Ваш специальный корреспондент» (1988). С 1990 года жил в Израиле, с 2002 – в Канаде (Монреаль). Публиковался в журналах «Новый мир», «Юность», «Киносценарии», «Зеркало», «22», «Волга» и др.

Мне было 10, почти 11 лет, когда случилось то, что случилось... И мы поменяли квартиру с Ботаники в центр – подальше от Долины Роз с ее проклятым озером в жирных ивах и топких берегах.

Но зато с нами Лазарев стал жить.

Пока мы жили на Ботанике, Лазарев был только гость. А теперь он пришел с туристским рюкзаком и поселился с нами. Да, теперь я его видел каждый день. 7/24. Но он был такой изящный, веселый, со светлой бородой и песочно-карими, всегда задерживающимися на тебе глазами, что все равно как гость, а я люблю гостей.

Он подкинул мне общую тетрадку марганцового цвета:

– Это хронограф! Просто пиши, что было! В двух словах! Но каждый день!

– А нафиг?

– Ну чтоб от Геродота не зависеть!

– Кто это? – не понял я – Геродот? – и посмотрел на маму.

– Это в том смысле, – предположила мама, – что человек сам в ответе за свои поступки, так, Леша?

– Нет, не так! – поморщился Лазарев. – А только чтоб Пафнутием не назвали!..

– Каким еще Пафнутием? – мы с мамой рассмеялись.

Один Лазарев оставался суров:

– Пройдет 100 лет – и кто докажет, что ты был Витька? – спросил он, уставившись на меня. – А не Пафнутий! Не говоря уж – через 1000 лет!

Смешно, короче. Ну да ладно. Хроники так хроники. Тем более что он приз обещал – абонемент на Республиканский – если буду эти хроники писать.

ХРОНИКА 1.

Красную цену себе в дворовом нашем футболе я не осмеливаюсь подбить и сегодня.

Апель и Гейка играли лучше, Аурел и Волчок – бесстрашнее и грубее, толстый Хас, Вовочка и Боря Жуков не превосходили меня ни в чем, но были ветераны двора, а я пришел лишь в 1972-м как одноклассник Хаса, когда мы переехали с Ботаники в Центр.

Пока я жил на Ботанике, мы с Хасом не были друзья. А только учились в одном классе. Но теперь я жил на 25 Октября, 67, а он на Ленина, 64, это через два квартала.

Стали ходить из школы вместе. Мимо политеха, планетария, художественного музея... мимо кинотеатра «Патрия», закусочной «Огонек»... мимо дома правительства, биржи болельщиков на Пушкинской... мимо главпочтамта и магазина «Военная книга» (усек, тов. Геродот?!)...

И тогда он спрашивает: «А сколько пацанов у тебя во дворе?»

Я признался, что всего двое: я и еще один малый из второго класса, правда, здоровый.

– А у них наберется на три команды, – похвастал Хас, – не считая малых. И они играют за ЖЭК-10 на «Кожаный мяч».

– Вот это да!

– И это еще не все. Каждый год ЖЭК выдает им форму с гетрами!

– Да ну!!!???

Слишком красиво, чтоб быть правдой.

Надо ли говорить, что на Ботанике ни у кого не было формы. Тем более гетр.

Заслушавшись, я проводил его до Ленина-Армянской, это целый лишний квартал, и тогда он говорит: «Приходи играть после обеда».

«А уроки?» – хотел спросить я, но постеснялся.

Бабе Соне я соврал, что уроков не задали. Она с трудом усадила меня обедать.

...Хас поджидал меня на ступеньках Спорттоваров. Издалека я увидел его. В квадрате футбольных белых трусов с красными лентами по бокам и в шерстяных черных гетрах с белой поперечинкой на икрах он выглядел пугающе-спортивно для колобка и душки, каким я знал его по классу.

Мы двинули по 25 Октября. Повернули на Армянскую возле Дома быта.

Беспорядочный людоворот повлек нас вдоль кремля центрального рынка, но Хас не растворялся в толпе.

Еще бы! Запусти его хоть в миллиард китайцев, он и там просиял бы в своей форме с гетрами.

Наконец, мы нырнули в какой-то пролаз, где железная колодка торчала в асфальте, чтоб машины не ехали.

Там начинался двор.

Двор был истыкан тополями. Тополя перерастали пятый этаж. Фигурки в гетрах носились по росчисти, утоптанной до стука.

И – не во сне ли я все это вижу – голевая сетка меж двух тополиных стволов!

Голевая сетка!..

Как бомбардир я не знал голевой сетки до той поры.

На Ботанике разведут два булыжника – и все ворота.

А здесь настоящая голевая сетка.

Я затрепетал от восторга.

И играли не куча-мала, как на Ботанике, а один на один до гола.

У Апеля была тетрадка и стержень.

– Пешков! – назвал меня Хас, и голый стержень Апеля перенес этот звук в таблицу.

На Ботанике никто не чертил таблиц. И я тут же понял, что футбол без таблицы – это просто возня в пыли.

Я не знал, кто есть кто в дворовой иерархии, и обыграл Сергича и Волчка в $\frac{1}{8}$ и $\frac{1}{4}$ финала. Хотя они оба были в гетрах. Ну, Сергич, это ладно – он из 4-го класса. Но Волчок был старше меня на год. Тем более Аурел – тяжелоногий, рослый. Но я обыграл и Волчка, и Аурела в $\frac{1}{2}$ финала. Так желтки с сахаром не взбивают в миске, как взбивал я им плюхи в сетке.

Тогда Апель отложил таблицу и выступил против меня. С первых его финтов было видно, что в футболе он умеет все. Просто кувшинка и стрекоза футбола. К тому же все болели за него.

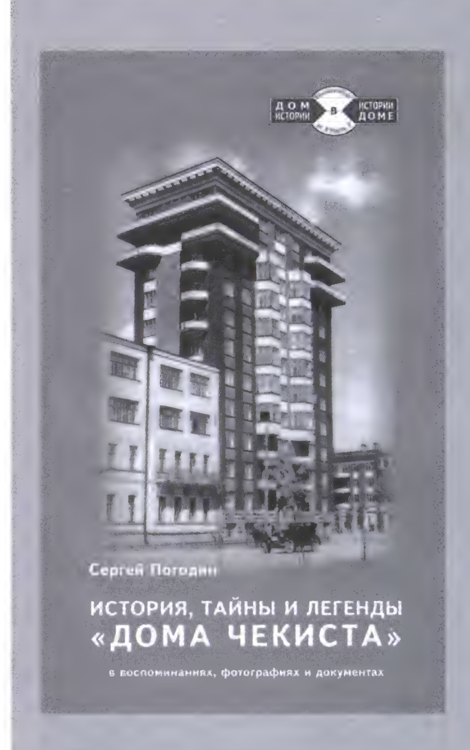
Вот так я попал во Двор.

На Ботанике – что в футбол играть, что в свинчатки-чушки – все равное занятие.

А здесь футбол был как факельное шествие!..

На Ботанике – играли на поджопники. А здесь – на Кубок богини Нике (ветка с цветами – в бутылке из-под лимонада)!

На Ботанике – Пешков (отец), которого я не помню. А здесь... Лазарев! Который курит длинную табачную трубку. Настоящую! И говорит (ха-ха!) про Геродота...



Эта книга открывает серию «Дом в истории. Истории в доме», и в ней пойдет рассказ о, пожалуй, самом знаменитом, самом закрытом и самом таинственном доме города, о первом жилом небоскребе на Урале «Доме Чекиста», который вошел в историю под названием «Второй дом Советов». Он построен в столице Урала в начале 1930-х годов в стиле конструктивизма.

В книге содержится детальный рассказ об истории строительства Дома, его архитектурных особенностях, о жильцах и месте в истории страны с забываемым сегодня названием СССР.

История «Дома Чекиста» очень интересна. Здесь жили руководители Свердловской области от И.Кабакова до Б.Ельцина. Его стены до сих пор хранят большое количество тайн и легенд, с которыми автор знакомит читателей.

В книге приведены документы и фотографии из государственных и частных архивов, воспоминания жильцов «Дома Чекиста» разных лет, многие из которых публикуются впервые.

Сергей Погодин



РАССКАЗЫ

Олег КРАСНОВ

Молдавский писатель, публицист, переводчик. Неформальный лидер литературной группы «Белый Арап». По образованию – математик и филолог. Работал лаборантом, дворником, санитаром, тренером, редактором газет и журналов. Победитель международных конкурсов.

ПИОНЕР

Ветер с запахом акации трогал алые галстуки, теребил белоснежные рубашки, трепал тусклую золотую бахрому на багровом знамени, волновал пунцовые пионы и кровавые розы. Взмыли ряды торжественных белых фартуков и умопомрачительных коричневых школьных платьев, встрепенулась короткая пионерская юбочка знаменосца Светы Булгару и огненная лента на ее плече. Рухнула корявая дробь барабанов, хрипло заныла натужная медь горнов, отчего зацарапало по горлу и стянуло кожу на скулах. Из столовой потянуло ватрушкой.

– Дружина, равняйсь! Смирна-а! Равнение на!.. Средину! Товарищ старшая пионервожатая! Дружина имени Зои Космодемьянской на торжественную линейку!!! – отзвук моего голоса ударился в ступеньки школы, заметно запаздывая отлетел в угол двора, отскочил в прохладные ивы, закрывающие окна мастерских, – ... па-строена и га-това! Председатель совета дружины Олег Ивлев. Рапорт сдан!

– Р-рапа-арт принят! Юные пионеры! К борьбе за дело Коммунистической партии! Будьте готовы!

Это как играть в индейцев в Рышкановском лесу. Кислый дым от сухого кустарника, дурманящий запах муравейника. Воздух колеблется вместе с соснами и разогретой травой. Ветер толкает в плечо, когда летишь с холма с копьем в руке и падаешь, выдыхая боевой клич:

– ВВссеегдаа ггооттоовввы!!!

Обычно эти горны и барабаны валяются в пионерской комнате. Я люблю там бывать. «Пионер – честный и верный товарищ, всегда смело стоит за правду». Это одно из лучших мест в школе. А еще комната физкультурников и кабинет математики. «Пионер – друг пионерам и детям трудящихся всех стран». И библиотека.

Мне всегда было жутковато читать про подвиги пионеров-героев, которые все до одного пали смертью храбрых. Учение о светлом будущем я тогда не очень понимал, но и возражений у меня не было. Будущее и должно быть светлым. А каким ему быть? Жители стран Запада вызывали у меня жалость и недоумение – ну что же они так?

Лес был поделен между племенами. Мы были сиу, и наш боевой клич знали все. Иногда доходило до стрельбы из самодельных ружей патронами от мелкашки, украденными со стрельбища, но нечасто и без потерь. Затвор делали из оконной задвижки, боек выпиливали надфилем. Страшно не было – сиу не знают страха. Школа это другое, там мурашки по коже от гулкого голоса завуча. Но в школе нет сиу. Хуг!

После уроков опять заседание совета дружины. Сколько орденов у пионерской организации? Какую книгу ты читаешь? Кто автор? Сколько макулатуры ты собрал? Я теперь читаю о трех мушкетерах. Автор? Ты что, откуда у мушкетеров автор?

Нет ничего проще, чем завязать пионерский галстук. Свободный узел, потом уголок оттянуть книзу, и еще узел. Главное не переделывать, чтобы не было складок.

А сейчас физра. На руках подымаюсь под самый потолок зала к ржавому карабину, на котором подвешен канат. Сверху зал сумеречный, уютный, и эхо у мяча двойное. Внизу канат заканчивается мохнатой мотней, попробуй скатись – обожжешь ноги.

Пока переодевались, втискивали мокрые тела в узкую школьную форму, чуть не опоздали на геометрию. Полина Константиновна уже опустила шторы и включила диаскоп, будет показывать задачу о египетском треугольни-

ке. В этом была какая-то мрачная магия – мягкое жужжание тяжелых штор, желтый сноп света, быстрый вопрос, вспышка озарения, мгновенный ответ, древние трактаты, сокровенное знание. Геометрия пролетала как сон, и дребезжанье звонка будило легкое сожаление.

На перемене играем в бестолковый футбол каучуковым попрыгунчиком, который отскакивает то в потолок, то в стены, и мы болтаемся за ним из стороны в сторону, сталкиваемся и возимся по полу в коридоре.

Физик за окном долго проверяет микрофоны. «Раз. Раз. Раз. Если дождик или ветер, я доволен всем на свете». Микрофоны фонят – пиу, пиу.

После третьего урока меня отзывают в туалет. Черт, я же в раздевалке после физкультуры полез вступаться за того задохлика, с которым мы два раза ходили на самбо. Я с ним не очень дружил, просто не люблю, когда издеваются. А если разобраться, то и выбора у меня не было – если бы промолчал, то это был бы уже не я, а кто-то другой.

Они все были из молдавского класса, и немного удивились, что я влез. Я сносно говорю по-молдавски, и им это нравится. Там был здоровый рябой парень – мне давно советовали с ним не связываться. Его же классная и советовала. Хулиган, говорит, после школы дружки подловят. Я не хулиган – мелочь по карманам не стреляю, но и меня никто не трогает. А что такое, ничего не случилось, можно было обо мне и забыть. Самбо я потом все равно бросил. Ясно же, что ничего кроме дурной силы у меня для борьбы нет. И задохлик бросил, еще раньше меня.

«Если солнце или град, все равно я очень рад. Раз. Раз. Раз».

Боже, какие изумительно правильные, точеные ножки у Светы. Бывает же такое. Теорема Фалеса, параллельные прямые, пересекающие стороны угла ...

Я ударил первым, когда он дохнул мне в лицо – «ну что?» Ударил и понял – он устоял. И левой в подбородок, несильно, еле задел. Он отшатнулся и сполз по стене. «Боится, что добивать буду», – догадался я и легонько тронул его пальцами за щеку – голова безвольно мотнулась. Глаза были открыты, но света в них не было. Не убил же я его? Но тут парень вдруг сипло задышал, конопатое лицо стало бурым, откуда-то посыпались монеты, которые кто-то бросился собирать и совать ему в руку. Он глядел безумными глазами то на меня, то на ладонь с мелочью. В коридоре уже подымался шум: «В туалете драка! Ивлев их разнимает». Интересная идея, но надо уходить.

Через какие-то полчаса шумела вся школа, будто бы сообщение передал школьный радиоузел. Рябой два урока провалялся в медпункте, но обошлось. И учителя уже знали, но никто и пальцем не шевельнул, чтобы меня наказать. Трудовик при встрече ласково щерился. Только медсестра долго не могла простить – «разве можно так бить человека». А как его бить? Когда я засобирался домой, вспомнил – ах да, дружки. Но что-то подсказывало – нет, не будут ловить, ничего не будет.

Моя папка изрезана бритвой и расписана ненашими надписями. Я ношу ее между указательным и средним пальцем. Не портфель же носить. Волосы закрывают уши. Пиджак немного влажный, под левой рукой – книга. Иногда – шахматы. В кармане – блокнот в клетку и шариковая ручка-гвоздь. Железный. Я носил его, даже когда уже никель стерся. А потом потерял. Жалко.

Ира Ти выскочила из класса со счастливыми глазами, я уж не знаю, что там у них случилось, но все кинулись ее поздравлять. Она безумно, дьявольски красива, у нее черные конские волосы с сизым отливом, желтая кожа, легкая горбинка, как у Анны Ахматовой, скуластое лицо и пухлые губы. Ира на год меня старше. Это все равно, что на век. Никакой надежды. Она очень ласково со мной разговаривает, но дело дохлое. Я стою в углу и смотрю, как девочки неловко тыкаются ей в щеку. Она улыбается ямочками на темной щеке.

Когда мы выходили во двор, дверь актового зала была открыта, и было слышно, как Витя Бущук тянет «Лэт ит би», но я почему-то не зашел. Этой дорогой я могу идти с закрытыми глазами, я видел ее в любое время года, я останавливался в любом ее месте, катался на санках, играл в ловитки, свистел в стручок кустарника, гляделся в лужи, и я все это могу вспомнить.

Кошка на заборе высматривала что-то внутри детского сада так пристально, что позабыла обо всем на кошачьем свете. Я не спеша подошел и несильно потянул за хвост. Кошка повернула ко мне башку с бессмысленными глазами, вмиг опомнилась и рванула как ошпаренная.

Собственно, оставалось еще целых полдня. Уроков задали немного, да и что такое уроки. Можно погонять на великах, можно поиграть в футбол. Или погонять в футбол на великах. А после «Международной панорамы» будут показывать хоккей.

Вечером я отчего-то никак не мог успокоиться. Воздух был сырым, теплым, а свет матовым, будто бы улица накрылась простынею с головой. В груди появилась усталая легкость и такое чувство, как в детстве после плача. День растянулся, и я уже не очень верил, что он когда-нибудь закончится. Я лег в кресло, и череда событий в две секунды пронеслась перед глазами, шахматная доска оплавилась и завернулась опаловым шаром.

«Раз. Раз. Полая поляна палево бела, плакала былая плавная пила».

Я сел повыше, а внизу сиу раскладывали прощальный пионерский костер, как прошлым летом в лагере. Вокруг курились дымки вигвамов, и было все как обычно, даже светляки на крапиве. Я вдруг подумал, что все будет хорошо, потому что по-другому и быть не может. Не бывает по-другому.

Взвейтесь кострами синие ночи!

НЕЛЮБИМАЯ

За пять минут до конца рабочего дня Ивлев вдруг затеял чинить карандаш – нашарил его в нижнем ящике стола, расстелил половину вчерашней газеты и стал снимать стружку узенькой бритвой.

– Ты чего это?

– А что?

– Домой не идешь?

– А в шахматы поиграть?

– Нет, знаешь, сегодня никак.

Острие карандаша еще не приняло форму осиного жала, а дверь уже хлопнула, оставляя ему одному все пространство комнаты. Ивлев повертел карандаш в пальцах и вернул на стол. Ощупал ладо-

нью глаза и лоб, вздохнул и пошел к выходу.

За дверью лежала зябкая осень, с влажными листьями, слипшимися под еле заметным дождем как пачка размытых старых писем. Идти было некуда – осень была повсюду. Пахло сыростью, влажным деревом и гнилью. Крупные капли собирались на скамейках, на проводах и перилах. За лохматым кустарником обрастало сизым мхом бревенчатое питейное заведение, где играли в карты, нарды и шахматы, и где можно было найти партнера на игру и чашку кофе, чтобы приятно убить вечер. Ему здесь было хорошо. Дробь падающих костей и цоканье шахматных часов действовали на него умиротворяюще. Но в такой вечер никого не будет и здесь – так, несколько посетителей с пасмурными лицами.

Когда-то очень давно клены были зелеными, ветер покачивал на тропинке тени веток, отчего казалось, что земля уходит из-под ног, и тогда она хваталась за его руку. Он целовал ее в висок, а она краем глаза следила за ним. Губы были мягкими, а сухой ветер веял безысходностью.

Он взял себе наперсток водки и стал рассматривать царапину на деревянном столе. Пустота настигала его и здесь. Все бы ничего, и было бы даже уютно, если бы не голоса посетителей, которые мешали ему не думать. В голове еще шелестел дождь.

Он вспомнил, как она вздыхает и трогает губу пальцем. На смуглой коже светлый бархатный пушок. Иногда ее волосы пахли дымом, и он не мог сообразить, отчего бы это.

Водка была плохая, а свет кривой и мутный. От всего этого он как-то очень быстро устал. Несколько парней дурными голосами спорили о форсированном движке. С соседнего столика время от времени падала пачка сигарет, и белокурый красавец звал официантку, требуя поднять. Ивлеву было безразлично – тут всякое случалось, и все как-то разрешалось, не первый же раз. Он даже удивился, что это может его занимать.

А она, конечно же, лежит в кресле и неслышно думает о чем-то своем. Или вяжет что-нибудь колючее цвета серого неба для следующей осени. Или лежит, раскинув руки, разглядывая далеко вверху заоблачные загогулины.

– Что ты смотришь? – вдруг спросил один из парней. Ивлев не сразу понял, кому он это сказал, посмотрел в пол и отошел к стойке. Ничего не хотелось. – Молчишь? – уточнил парень, и встал на ноги. Ивлев рассеянно поискал взглядом пепельницу. На стойке лежал карандаш, толстый, как большой палец. Рядом валялся полуоткрытый коробок с двумя спичками. Ивлев щелчком подбросил его и, не оборачиваясь, ударил тупым концом карандаша в ребра. Коробок подпрыгнул и встал на попа. Парень густо покраснел и, хватая ртом воздух, завалился на бок. Ивлев мягко переступил через него, и легонько пнул ножку стола.

– Не побеспокоил?

Никто не смотрел в глаза и не спешил вставать. Пустота разливалась по темным углам и дощатым полам заведения.

– Краткое содержание предыдущих серий, – глухо сказал телевизор на стойке.

Девушка с двумя кружками пива застыла у стены. Белый фартук, пухлые руки и взбитая грудь делали ее похожей на дочь трактирщика. Захотелось сказать ей непристойность по-голландски... или по-норвежски...

– Уходите, пожалуйста, – попросила она.

Ивлев поднес руку к глазам. К тыльной стороне ладони прилипло зернышко кунжута со стойки. Он шевельнул пальцем и зернышко упало. Теперь уж точно придется идти домой. На стене лежала тень его локтя, образуя клюв и крыло птеродактиля.

– Спасибо, – кивнул он и положил деньги на стойку, – я и сам уже собирался уходить.

Было холодно, вокруг валялись мелкие ветки и сброшенные ветром орехи. Мокрые, нелюбопытные собаки лежали у дверей с равнодушными мордами. Кленовая аллея обрывалась в темноту.

А ведь у него была когда-то собака. Точнее пес. Который умел чувствовать себя виноватым. Забегал немного вперед и заглядывал в глаза. Потом ему часто это снилось.

Была у них такая игра – когда пес гулял неподалеку, скучающий Ивлев неожиданно падал назад, выбрасывая руку и выхватывая из пустоты выскальзывающую собачью ногу. Пес тявкал, в восторге носился вокруг, стелясь у самой земли и косся круглым черным глазом.

Ивлев нащупал где-то в воздухе поводок, намотал его на локоть и цыкнул на собаку. Пес фыркнул и натянул ремешок. Ивлев замычал невнятное и побежал, вламываясь в кустарник и разбрызгивая лужи. Пес был где-то далеко впереди, Ивлев с разбегу забрался на пригорок, поросший поседевшей травой, и побежал по тропинке вдоль оврага, сдавленно выкрикивая что-то неясное – «осади», «остуди». Разобрать было невозможно, да и некому.

В небе тускло полыхнуло, пес вдруг застыл и стал вглядываться в темноту. Ивлев остановился, задыхаясь, сделал несколько шагов и согнулся вдвое, и уже было не разобрать – собака ли чует что-то в кустарнике, дрожание ли руки передается через поводок. Но из зарослей никто не вышел, вокруг было тихо и пустынно, Ивлев повернул к парку, и скоро собака вывела его к дому.

К ночи стало совсем свежо. Пальцы закоченели и путали ключи в связке. Дверь, наконец, открылась, пахнуло хлебной коркой и паркетным лаком. На полу в кухне лежали обрывки бумаги, исписанной круглым почерком, на столе – кастрюлька, обмотанная полотенцем с красными иероглифами, а рядом – книжка, заложенная карандашом. Он вспомнил, что хотел поправить раму в ее комнате.

Из карманов посыпалась мелочь и ключи. Полетела на пол кружка с попугаями. Густая струя воды медленно выливалась из гнутого крана, казалось, что чайник никогда не наполнится. Ивлев опустился на краешек табурета и забылся, рассматривая свои ноги на желтом линолеуме, пока его не отвлек шум троллейбуса.

А она спала, тихонько посапывая. Губы припухли – плакала, должно быть. Со сна у нее бывает смуглое лицо, совсем черное, насупленные брови и выступающие губы – как на детской фотографии. Едва дотрагиваясь, погладил по волосам и лег рядом. Утром она уйдет на работу, и когда Ивлев проснется, дома никого уже не будет.

– Спи моя девочка.

Волосы по-прежнему пахли дымом.

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

Михаил ПОТОРАК

Прозаик, переводчик, пишет на русском и молдавском языках. Закончил журфак Кишиневского университета, работал в газетах, на телевидении, в рекламных агентствах. Много лет уже живёт в селе Иванча, работает директором музея, преподавателем, руководителем детской театральной студии. Проза публиковалась в журналах и альманахах в Молдавии и за её пределами. В 2015 году вышел сборник рассказов, сказок и миниатюр «Идёт ветер к югу».

КОЛЛЕКЦИЯ ПТИЧЬИХ ЯИЦ

Когда я учился в школе, у нас на втором этаже был зоологический музей. В стеклянных шкафах безрадостно торчали разные чучела, по стенкам висели коробки с мертвыми жуками, в витринах лежала куча всякой чудесной хрени: морские ежи и морские звезды, клешни крабов, раковины, коллекция яиц. Интересно, где все это сейчас?

Неужели просто выбросили? Да как же можно было? Ладно бы там еще, скажем суслик, со страшным его желтым оскалом. Суслика первоклассницы боялись. Первоклассники, впрочем, тоже, только стеснялись признаться, громко ржали напоказ и щербато скалились суслику в ответ. Суслик – ладно, хрен с ним. И чучела птиц – тоже ладно, и морские звезды, и жуки, и крабовые клешни. Они давным-давно истлели, рассыпались в труху, исчезли из мира насовсем. Но вот раковины... Красивые такие были. Жалко.

А коллекция яиц? У кого поднялась рука выбросить? А вдруг не выбросили, вдруг она до сих пор лежит в какой-то кладовке под старыми картами и журналами? Вот бы найти ее, да.

Сдуть пыль аккуратно, принести домой, позвать кота и с ним вдвоем рассматривать. Мы с котом оба живые и довольно теплые, от нашего тепла яйца бы ожили, и из них бы повылуплялись всякие птицы. Из самого большого вылупился бы белый лебедь, улетел бы на пруд и там качал бы павшую звезду на радость трудящимся народам.

Из куриного – певчий кур, весь такой раскрасавец и лирический тенор. Он заголосил бы звонко, и ночь бы перестала, а настал белый свет, и на всем этом белом свете прослезились от счастья внезапно влюбленные курицы. А он бы им такой: «Медам! Я ваш навеки!»

Из зимородочьего бы родилась мелкая синяя птичка. Совсем мелкая, но нам бы и такой хватило.

Из самого маленького и невзрачного вдруг вылупился бы дракончик. Осмотрелся бы, похлопал кожистыми крылышками, потом засмеялся, снес яйцо и лопнул, как мыльный пузырь. А из снесенного яйца снова бы вылупился дракончик, засмеялся, снес яйцо и лопнул, а из того яйца – опять, и так – до бесконечности: они бы рождались, смеялись, неслись и лопались, все уменьшаясь и уменьшаясь в размерах. Вот так и жизнь моя, блин. Все меньше и меньше ее остается, даже как-то грустно.

А одно яйцо лучше не трогать. Пестренькое, сорочье. Оно не настоящее сорочье, сорока его где-то стырила и перекрасила под свое. Не надо его трогать, нет. Потому что из него вылупится новая Вселенная. А нам такого пока не надо, у нас еще эта не кончилась.

БЫФ

Позавчера Спиридон хотел укусить осу, но оса не захотела и сама укусила Спиридона. За губу. Губа слегка припухла и напрочь испортила собаке всю дикцию.

– Габ! – жалуется бедный Спиридон – Габ-габ!

Оса затаилась, сволочь, под застрехой, подглядывает оттуда и мерзко хихикает.

А мы не хихикаем, мы жалеем Спиридона – и я, и Гёргиваныч, и лошадь Гёргиваныча.

Мы только что привезли мешки с зерном и теперь отдыхаем в тенечке, пьем воду и жалеем Спиридона. Лошадь пьет полезную колодезную воду, а мы с Гергиванычем – магазинную буратину, вредную, но бесподобно вкусную. Она прохладненькая, кисловатая, она шипит и щекочет горло, и шибает в нос. Я от буратины икаю густым, благостным баритоном, Гёргиваныч, стесняясь, шепчет: «От, зараза!», а лошадь вынимает морду из полезной своей воды и мелодически молчит. Закуриваю. Эх, хорошо!

Когда-то любил я посидеть в хорошем кафе с коньяком и сигарой. Но никакие, никакие, даже самые распрекрасные коньяки и сигары не могут сравниться с дешевой сигареткой под вредную буратину на чурбачке в тени столетнего ясеня жарким августовским днем, когда плечи, спина и ноги еще гудят от таскания мешков, а пыльный зной колючими, горячими мурашками отделяется от кожи и улетает с западным ветром.

Спиридон почти перестает опасаться лошади, подползает к самым моим ногам и кладет мне на колено смешное, трогательно-ассиметричное лицо.

– Быф! – говорит он тихонько, – быф!

Мне не видно, но я знаю, что там, за моею спиною спустился ненадолго с ближних небес некий огромный прекрасный Быф и смотрит на нас, и нам от этого чуточку легче живется на свете.

ПРЕДЕЛ ЛЕТУЧЕСТИ

По краю пустого поля бежит довольно большой смерч и крутит сухие кукурузные листья. Внизу – пополам с пылью, а повыше пыль уже не долетает. И листья сначала возмущенно шипят, а после, подлетая в яркую синеву, замолкают удивленно и радостно и думают: «Мы – чайки! Немые золотые чайки мы! Мы в самое синее небо летим!»

Издалека листьям завидуют вороны, завидуют разные пакеты, бумажки и другие листья, не подхваченные смерчем. И я тоже завидую. Немножко. Они-то летают, а мне вот некогда. Весь в делах я, весь такой офигенно важный...

Мне нужно переводить важную статью, таскать от колодца важную воду и с наиважнейшим видом подметать двор. А, и козу вести еще. Козу – особенно важно. Она с утра вдруг принялась орать. Что-то такое по-французски, с ужасным, правда, акцентом. Кажется, это из Лары Фабиан, я по радио слышал как-то. «Жё сюи малаааадё...» Влюбилась опять, зараза. Придется вести к козлу...

Ну, ладно, что уж там. Свожу. Ее можно понять, в общем. Такая осень – самому впору влюбиться. Солнечно, тепло, ветрено, слегка суматошно, шебуршливо, дымно, золотисто, горьковато-весело. Как тут удержишься?

Детсадовская группа вышла на прогулку в парк и ревет какие-то зверские марши. Это их вон та тетка научила, не иначе. Она и сама глотку рвет, и бедных детей этому ужасу научила тоже.

Я знаю, знаю – это она от страха. Боится, что и ее околдует это шалый, блаженно-яростный октябрьский день. Закружит, подбросит в небо, заставит стонать «жё сюи малаааадё...»

– Ралисадимитивна! Смотрите, там дядя полетел! Вот тот, в очках! Смотрите, смотрите, летит! Ой, за дерево зацепился одной штаной... Ралисадимитивна, а тот дядя говорит слово «блин» и ногами дрыгает!

– Дети, не смотрите на дядю. Дядя глупый.

Ну... Тут она права, положим. Это ж надо было так. По-дурацки, блин. Это я просто не тренировался давно...

СТО МИЛЛИОНОВ ЛЕТ

Когда-то в нашем детском саду было много детей, а теперь осталось мало. Нету больше младших, средних и старших групп, есть только одна русская и одна молдавская. Они все умещаются в половине одного корпуса, а другие два с половиной пустуют, и площадки игровые около них пустуют тоже.

Там, где сад еще работает, все довольно ухоженное, подкрашенное, забор новый стоит из блестящей металлической сетки. О сетку эту бьются с разгона, как птицы, предпоследние наши дети, когда их выводят гулять.

А тут, у необитаемых корпусов, забор старый, и все старое. Краска облупилась давно и полностью. В стылое ноябрьское небо торчат обломанные верхушки черно-серых штакетин, пустая дряхлая беседка, голые деревья, какие-то ржавые лесенки и столбы. Посвежее краски только на калитке, где какая-то тетя, в печальном порыве четвероюродной любви к прекрасному, нарисовала большую развесистую ромашку. Там тоже краска облупилась, но не вся еще, не вся. Пусть и с пятнами ржавчины, пусть изгвазданная, в следах чьих-то подошв, ромашка все горит еще отчаянной эмалевой белизной на грязно-синем фоне, все продолжает упрямо цвести ни для кого. Господи, как чудовищно жалко иногда мне бывает людей! Нарисовала она... Ах ты, горькая моя...

Ракета еще там стоит на площадке. Давным-давно сварена она из арматурин, чтобы дети в ней играли в космонавтов, и вопили счастливо и яростно, вцепясь в железные прутья.

Когда я был маленький, пацанам полагалось хотеть стать космонавтами. Мы и хотели, чё. Нормальный был ход. Мечтать кататься по космосу на ракете было не хуже, чем про велик с моторчиком или про стрельнуть из пистолета маузер, или про подглядеть, какие у воспитательницы трусы. Залез, такой, в ракету и – джжж, прямо по космосу. Мы даже играли в это иногда, в мультяшный этот космос. А про настоящий, черный и огромный, я например, думать тогда не любил и немножко боялся. И другие пацаны, полагаю, тоже. Он же, зараза, только о нем подумаешь, начинает притягивать. И потом, как ни старайся думать про другое, он все время где-то рядом есть

и тихонько сосет под ложечкой, ноет внутри тебя смутною тревогой. И притягивает, падла, притягивает! Страшно, блин...

Потом, когда вырос, бояться перестал. Привык. А притягивать – нет, не перестало. Сейчас гляжу на эту ракету и думаю, что даже несмотря на больную коленку, забор-то я перелезть, пожалуй, смогу... А вот помещусь ли внутрь ракеты? Снаружи летать в космос нельзя, там воздуху практически нету.

Ну... Наверное да. Помещусь. Главное пролезть. Вон те прутья если чуть-чуть раздвинуть, то да. Протиснусь, отдышусь, начну думать про космос и в этот раз дам ему, наконец, себя притянуть. Он так долго ждет меня – и меня, и других людей, хоть мы и не хотим больше быть космонавтами, забыли про это совсем. Но теперь уже, наверное, пора.

Скажу: «Поехали!», и поеду потихоньку, буду лететь себе и лететь сквозь бездну звездную в офигительной бесконечности, и разглядывать все буду сквозь ржавую ракетную решетку. Однажды вдруг случайно увижу из космоса Землю, заскучаю и вернусь домой. У, как хорошо дома, сколько воздуху, и деревья, хоть и голые, но живые, и звуков разных сколько, собаки гавкают, петух где-то орет. Земля под ногами немножко плывет с непривычки.

Давненько я дома не был, сто миллионов лет прошло на Земле. Все, что я знал, кончилось и все сначала потом началось: инфузории, трилобиты, динозавры, палеолит, история со всеми ее кошмарами – все точно такое же. И Моцарт новый, и Пушкин, и Мандельштам. И новый такой же я родился у такой же мамы и так же дожил до такого же дня, в какой улетел отсюда предыдущий я. Так же проходил у забора детского сада, перелез, пыхтя, протиснулся в ракету и улетел на сто миллионов лет, а вместо него остался предыдущий я, вернувшийся.

Оглядываюсь. Ничего так. Холодно и грязновато, но ничего. Ромашка смешная на калитке.

ЯВЛЕНИЯ И ВЕЩИ РАННЕЙ ВЕСНЫ

Почему-то каждою весною я делаюсь необыкновенно встревожен. Особенно в самом начале, когда природа еще скудна содержанием, но уже весьма выразительно подсвечена солнцем. В странную, необъяснимую тревогу приводят меня явления и вещи ранней весны.

Вот куры, которым надоел привычный пейзаж двора, стремятся удрать на улицу и прыгают, прыгают на проволочную сетку забора, но вершины не достигают. А потом, сообразив, перелезают забор, цепляясь за проволоку лапами и гнусаво вопя, словно и не куры они вовсе, а какие-то диавольские облизьяны. На улице лица их и осанка становятся как у хулигана, который вышел на первое свое хулиганство и еще робеет, однако уж ни за что не своротит с преступного пути. Нет, не своротит. А пойдет и снесет яйцо преподлейшим образом не дома, но под соседским забором. Пусть там родится из него дикий подзаборный цыпленок. Дикий и вольный, как ветер, вот этот солнечный ветер, что задувает сегодня с утра и заставляет глаза слезиться, а сердце – подпрыгивать.

Вот молодые женщины, которые всю зиму возили по нашей улице в санках какие-то странные цветные мешки, распаковали их, и оказалось, что внутри мешков у них новые маленькие люди, очень интересные. Так интересно они шагают, так смотрят на все... Они, наверное, думают, что это мир появился одновременно с ними и сегодня в первый раз распаковался из зимы. Что ж, они, пожалуй, правы. Рассеянным разумом своим я догадываюсь, что нет, что не с ними одновременно а со мною родилось мироздание – давным-давно когда-то. И уже взялось потихоньку стареть. Но разум – дурачок, что он там понимает, тьфу на него...

А вот на столики перед подъездами понавылазило из нор своих разных соседей. Лики их светлы, глаза блаженно затуманены, в душах распускаются первоцветы милейших алкоголических затей.

А вот и я, и я на улицу вылез! Ах, как странно дышится мне сегодня! И что-то негромко шумит внутри, как будто закипает. Гм... Уж не гормон ли это заиграл в нечестивые игры свои? Но нет, нет... Это нечто большее... Это сама жизнь моя зашевелилась на солнышке, зашептала что-то, потрясенно блистая каждым мгновеньем. И боюсь прислушаться, и не могу не...

«Ух, ты... – шепчет она, – я улетаю! Господи, я улета...»

НИЧЬЯ СЛИВА

На обочине шоссе зацвела дикая слива. Она ничья, никто не собирает ее мелких кислых плодов, их едят только птицы и вечноголодные дети местных алкашей. Господи, как она цветет... Стольких цветов просто не бывает на свете, не бывает! На это даже смотреть долго нельзя, потому что начинает кружиться голова, и невозможно потом отвести глаза, невозможно смотреть на что-то другое.

Шагов за десять слышно гудение миллиона пчел и райский какой-то запах. Свеже-медовый, светлый, со смешинкой.

Ни за что не поверю, что вот это все – только на несколько дней, а потом опять будет чахлое придорожное деревце. Нет, неправда. Каждая секунда цветенья этого была всегда и будет всегда. Это мы, мы скоротечны и бессмысленны – вот эта дорога, с глупо ворчащими машинами, вон те загаженные развалины, в которые теперь превратилась моя музыкальная школа, куда я в детстве бегал истязать тяжеленный аккордеон, вот этот я, с жалобным кряхтеньем волокущий темную сторону своей души... Войны, болезни, подлость, страдание, смерть, всякие невыносимые занудные дураки, от которых я так устал – ничего этого на самом деле нет. Нас нет, мы только почудились, мелькнули и сгинули. Во всей Вселенной есть только вот это дерево, вот эта чу-

десная радость – безграничная и вечная.

СНЫ В НОЧЬ НА ПОНЕДЕЛЬНИК

Проснулся сегодня незадолго до рассвета. Все кругом еще спали. Кот Яшка спал у левой моей коленки, сладостно сопя поцарапанным носом. На улице пес Спиридон в будке спал под шелест дождика по железной крыше. И птицы все спали в гнездах, и люди в домах своих, и бабайки под их кроватями спали, мусоля сонные тапки. Все наше село спало, и соседнее село тоже, и вся Молдавия спала – спокойно, нежно и слегка печально. И меньше во сне болели руки работников, и тише горели трубы бухариков. Спали, спали всякие люди, грешные люди, смешные, несчастные обычные люди – все тихо дрыхли в эту дождливую ночь на понедельник. Если вдруг и есть среди этих добрых людей какая-нибудь сволочь, то и сволочь эта тоже спала.

А вот я – нет. Я, блин, проснулся и бдил! Обидно. Обратно уснуть уже не получилось, да и вставать все равно через час. Я лежал с закрытыми глазами и слушал чужие сны. Собачьи, летающие низко над мокрыми травами, невесомые птичьи, звенящие тонкими стеклышками, дымчатый Яшкин сон. И еще один, неизвестно чей, – огромный, синий, глядящий пристально прямо в мое окно.

ЧЕЧЕВИЧНОЕ ДЕРЕВО

Алена подарила мне пакетик чечевицы. «Мы ее не едим, – сказала – а тебе для курочек».

Я посмотрел, пощупал сквозь целлофан... Какая она, эта чечевица, красивая! Прекрасные гладенькие зернышки идеальной формы, цвета легкой депрессии. Чудное щебечущее имя. Как же ее курам? У них глупые, хищные лица, они будут бить чечевицу твердыми клювами и драться за нее друг с другом. Нет уж. Хрен вам, куры.

Я эту чечевицу посею. Буду бродить по белу свету и рассеивать ее в разных местах. На пустыре за столовкой посею чечевичное поле для птиц. Большое поле, чтобы хватило всем, чтоб не дрались. Когда-нибудь придет лето, горячий летний ветер станет носиться над чечевичным полем, колыхать лохматые колосья, нежно звенеть глянцевитыми зернышками. И на звон этот слетятся всякие птицы: куры, воробьи, перепелки, орлы, дятлы, волшебные иволги – все, кто услышит. Прилетят они и примутся благостно жрать, мысленно поя, а драться в этот раз не будут вовсе, оставят на потом.

А вон там, между гаражами я джунгли посею. Лианы, пальмы, фикусы, лопухастая узорчатая листва, дохреница разных фруктов и романтических цветуёчков – всё чечевичное, ужасно дикое. Там будут водиться дикие коты и дикие собаки, и дикие дети. Домашние дети будут тоже туда сбегать, чтоб пожить немного средь диких чечевичных обезьян. И дикие лошади придут иногда вечерком к опушке – попастись и пофыркать в прохладных чечевичных сумерках.

Себе оставлю только одно зерно. Дерево выращу из него. До самого неба, как в сказке. Первым Яшка полезет, он специалист, а следом уж я. Спиридона возьму в рюкзак. Надо будет дырку ему внизу сделать для хвоста, махать чтобы. Только прикинуть правильно место для дырки, чтоб он, махая, не лупил меня хвостом по заднице. Хотя ладно, пусть лупит, это будет мне как бы за грехи мои. Когда долезем, сторожевые ангелы это увидят, и сжалятся, и заржут, и пропустят меня погостить. А мне там есть у кого погостить, да. Есть с кем поговорить или молча обняться, есть с кем посидеть душевно и даже, может быть, немножко выпить, я с собой принесу.



В этой книге нам предстоит пройти славный путь становления и развития судебной власти на Среднем Урале, начиная с общероссийской судебной реформы 1864 года, и коснуться самой загадочной ее страницы, связанной с Гражданской войной на Урале и началом следствия по уголовному делу о гибели последнего российского императора Николая II. Этой исторически важной работой занимались мои давние коллеги из Екатеринбургского окружного суда, жертвенно служившие делу правосудия и незаслуженно забытые.

...Прошло почти 100 лет, а споры и легенды вокруг этой трагедии до сих пор будоражат умы историков и обывателей.

Где и кем принималось решение о цареубийстве? Как оно было исполнено? Кто именно стрелял в Николая II?.. Версии и домыслы о спасении семьи и царя. Перспектива предания его уголовному суду. Обстоятельства захоронения и поиски останков. Канонизация. И еще много-много животрепещущих вопросов, которым посвящены сотни книг и публикаций. Они нашли отражение даже в театрализованных постановках, кинофильмах, в поэзии...

Уважая историческую ценность любого исследования, я оставляю вышеизложенные аспекты за рамками этого повествования, ограничиваясь близкой мне темой – производством первоначального следствия судебными деятелями Екатеринбурга данного незаурядного убийства.

Людмила Павлова.



РАССКАЗЫ

Николай ЧЕРНЕЦКИЙ

Родился в Молдавии в городе Бельцы. Там же закончил филфак местного пединститута. Пишет стихи, прозу... Сменил несколько профессий – от слесаря-сантехника до заведующего литературным отделом журнала «Стерх», издаваемого в начале 1990-х, в Петербурге Юваном Шесталовым. Переводил его же и других северных поэтов. Публиковался в различных альманахах. В настоящее время живет в Луге, Ленинградской области, Колумнист – ведет колонку стихотворного фельетона в районной газете.

НЕХОРОШИЕ СЛОВА

Ябедать нехорошо. Когда в ответ на что-то нехорошее кто-то закричит: «Да, будет сказано!» – все сразу начинают его дразнить: «Ябеда соленая, на горшке вареная!» И ему становится очень обидно. Особенно из-за того, что – на горшке. Потому что горшок – это смешно, и быть вареным на горшке – обидно. Все тогда смеяться будут.

Когда Красная Шапочка шла отнести бабушке горшочек масла – все сразу начинали смеяться, и Зинаида Захаровна кричала: «А ну-ка перестаньте, что еще такое!» Воспитательницы почему-то не понимали, что очень смешно, когда масло в горшке.

Но зато и мы, правда, тоже не все понимаем. Нет, насчет ябедать – все понятно. Никто не хочет, чтобы знали, когда он чего-то наделал, поэтому на ябеду и дразнятся. А Зинаида Захаровна говорила, наоборот, что когда кто-то чего-то наделал – надо рассказывать. Такого человека надо наказать, чтобы он сказал: «Я больше так не буду», – и больше так не делал. Чтобы не было плохого. Когда не ябедали, она говорила, что мы «наказываем человеку медвежевую услугу». Ну, если просто его самого наказать – в угол поставить – то он больше не будет, а если наказать «медвежевую услугу», то он снова чего-нибудь наделает.

Непонятно другое. Когда Витька в саду кушал гнилые сливы, которые нападали с дерева, я испугался, что он отравится. Витька вредный, но он мой брат, и он маленький. Он не понимает, что можно отравиться гнилыми сливами, и его надо спасать, чтобы он не отравился. Я побежал к папе и сказал: «Да, а чего Витька кушает гнилые сливы на земле!» Я думал, что папа сразу побежит его спасать, но он сказал: «А ты не ябедничай!» Взрослые говорили «ябедничать» – то же самое, только по-взрослому.

Вот тут я не понял ничего. Ведь ябедничать – если им так удобнее – это когда потом ставят в угол. А тут ведь же надо было спасать человека... Да и вообще, когда делалось что-то плохое – надо было как-то исправлять.

Например, Кринюшкин говорит нехорошие слова. Глупости. Он говорит «сдохла», это глупость, нехорошее слово. Это такая игра: «Ехали татары, кошку потеряли. Кошка сдохла, хвост облез. Кто промолвит – тот и съест». И надо молчать, а кто первый заговорит – тот съел кошку.

Мы все в нее играли, но мне она никогда не нравилась. Во-первых, кошку жалко. Во-вторых – противно ее есть. Когда я представлял себе, как ее кто-то ест – мне становилось очень противно, и жалко уже обоих. И кошку, и того, кто ее ест. Это даже хуже, чем гнилые сливы подбирать с земли. Но я уже знал, что рассказывать про это взрослым не надо, получится, что – ябедаю. Ябедничаю. То, что жалко – тоже никак не исправить, и рассказывать об этом нет никакого толку. Но глупости говорить нехорошо, и я решил рассказать Зинаиде Захаровне. Вот тогда Кринюшкина, конечно, поставят в угол, и он уже не будет рассказывать про кошку.

А еще мне не нравилось, что там было нескладно. «Ехали татары – кошку потеряли»! Не складно. Правда, он иногда говорил и по-другому: «Ехали китайцы, потеряли яйцы». Это совсем другое дело. Хотя, непонятно – откуда потом взялась кошка, но – какая разница? В конце концов – и там много чего непонятного... Как же они могли потерять правдашнюю кошку – ведь она стала бы мяукать и они услышали бы. И почему с нею такое приключилось – подумаешь, потерялась... Если они даже не смогут ее кормить – может покормить кто-то другой. Кошкам всегда кто-нибудь наливает молока в блюдечко. И они вообще могут ловить воробьев, чтобы кушать, или мышей. Воробьев, правда, еще жальше, но прокормиться она бы все равно как-то могла. Бывают же ничьи кошки... А то, что у них там яйца покатились и разбились – это бывает, и могли не заметить. Сколько раз

так было, уронил – и все. А если при этом едешь – можно и не заметить. Это бывает.

В общем, все это как-то объяснялось, а вот то, что нескладно – не поправить ничем. А мне не нравится, когда нескладно. Поэтому, когда я решил рассказать Зинаиде Захаровне – выбрал китайцев, хотя именно в этот раз Кринюшкин говорил про татар. Подумаешь... Ведь нехорошее слово «сдохла» все равно оставалось на месте. Я не стал кричать «Да, будет сказано!» Зачем... И так не очень уж это приятное дело – ябедать. Вот только что – никуда не денешься, потому что ведь же нельзя, чтоб было плохое...

Я просто подошел к Зинаиде Захаровне и сказал: «Да, а чего Кринюшкин глупости говорит...» Она спросила: «А что он говорит?» Наверное, она уже где-то слышала эту игру. Потому что, когда я начал отвечать, она даже не дослушала до конца. Я только успел сказать: «Ехали китайцы, потеряли яйцы...» – как она тут же хлопнула в ладоши и закричала: «Кринюшкин! А ну-ка иди сюда!»

В общем, его поставили в угол. И вот мы играем на прогулке, а Зинаида Захаровна, конечно, не в песочнице с нами, а в беседке, на такой скамейке. И он тут же, в беседке, стоит в углу. Тоже, конечно, жалко – разве я не понимаю... Но потом он, конечно, стал говорить, что больше не будет, и его простили, а зато что после этого он все равно говорил – да и не только он, если честно.

Только я уже про это больше не рассказывал, потому, что если наябедаешь – все равно толку от этого не будет. Я уже заметил. Всегда так. А если совсем по правде, то с этими глупостями тоже не все так ясно. Вот, например, есть еще такое слово – «черт». Тоже плохое слово, когда кто-то его скажет – Зинаида Захаровна всегда его ругает и говорит, что так говорить нельзя. Плохое слово. Но тогда, скажите на милость...

Это бабушка так говорит: «Скажите на милость». Или еще: «Спрашивается». Так вот, спрашивается: если слово такое плохое – почему же оно в хорошей песне? Но вот как раз спросить про это не у кого. Ну, правда же – не подойти ведь к папе или Зинаиде Захаровне с вопросом: «Да, а чего это в песне такое слово?» Уж не знаю, ответит еще или нет, а в угол точно поставят...

Но песня-то действительно хорошая? Хорошая, про войну. Законная песня. И петь ее хочется? Хочется. И вот мы играем на прогулке, а я тогда отхожу в сторонку, подальше, и начинаю негромко петь. Пою себе. А когда дохожу до этого слова – смотрю по сторонам, чтоб никто не услышал и не наябедал. Ну, и, конечно, чтоб сама Зинаида Захаровна не услышала... И совсем тихо, неотчетливо промямливаю: «черт», и тут же, как ни в чем не бывало, уже погромче, продолжаю: «...Идет под знаменем – красный командир. Гэй, гэй, красный командир...»

КАЛАМБУР

Мужа я свово любила. А что – степенный он у меня был, работящий. Чтоб буйства или там грубостев каких – это никогда. Нет, грех жаловаться. Дом у нас, хозяйство справное... Девчонок ему двух родила. И тут он возьми да захворай. Уж и не знаю, с каких таких причин – крепкий всегда был... Может, контузия какая с войны – не говорил ведь ничего. Не знаю. А только слег да через неделю и помер.

Что тогда делалось со мной – ни рассказать, ни в сказке описать. Сама-одна, сиротой он меня взявши, и время такое трудное, и детей двое на руках, а годов мне об ту пору под тридцать. И делать ничего не могу, и ночей не сплю, и где я и что я – не разберу. Тут-то бес меня и смутил. Измыслила я, грешная баба, жизни себя лишить. Стала она мне горше муки какой – и тошно, и невозможно, и свет Божий не мил. Плачу, с малолетками своими прощаюсь.

А тут соседка приходит вдовая – они с сыном рядом жили. Спасибо ей, то по хозяйству поможет чего, то с утешением – ну да какое там утешение, когда таково на душе... Приходит, я ей возьми да и покайся: молитесь, мол, за меня, грешную, а не жить мне на белом свете. Не то в петлю, не то на ток как-нибудь, чтоб уж сразу. Ток нам тогда провели в село, дело доброе, а только боялись мы. Слышно, кого-то поубивало им, случаи были. Так вот ей все это и высказала.

Она руками всплеснула – и прочь. А дело к ночи. Как ночь прошла – и не знаю. Все, помню, при свете сидела да качалась из стороны в сторону. А как рассвело, приходит Миша, сынок соседкин, лет семнадцать ему тогда было. Спокойно эдак поздоровкался и ни слова боле. Давай с моими девчушками возиться, поесть принес им, забавляет их... А после – мне вроде как промеж дела:

– Ксан, а Ксан... Ты, болтают, на ток собралась. А к кому это на ток – к Макаронычу али к Зюне Кривому?

Я как из угла в угол по избе ходила, так на лавку и плюхнулась. Сижу – рта не закрыть. И тут слезы из меня как хлынут! Ручьем, ключом, прямо оттуда откуда-то, из самого что ни на есть нутра. И такой скрозь эти слезы хохот меня разбирает – ну трясет, колотит всю как есть. И не понять мне, то ли смех это из меня слезми выходит, то ли слезы от смеху, и вроде как вовсе это не со мной. Вроде сама на себя со стороны смотрю да и думаю про себя: эк ее разобрало-то как, сердешную...

Шутку он такую сшутил, Миша-то. Ток, он ведь и в проволоке, и где молотят – тоже током зовется. А там, на этом току, два деда у нас приставлены. Макарыч шелопутный, мы его Макаронычем прозвали, да Зюня – тот и вовсе с японской ишшо кривым обернулся. И так он, Мишка, шуткой этой своей меня сразил – мочи моей нет, хохочу-колочусь, и никакого мне угомону. Еле очухалась.

Сижу, дух перевожу, а он у меня, смех-то этот, всю мою кручину, всю тоску-маету – ну ровно ливнем выполоскал. Светло на душе, хрустко, будто белье стираное с морозу внесли. Гляжу это я на него, на Мишу, а он предо мной стоит, малышек моих по головкам гладит, они жмутся к ему – одна с одной стороны, другая с другой, на меня во все глаза смотрят. Притихла я, а он мне и говорит:

– Ксенья, а Ксенья... Поди за меня замуж...

И слезы в глазах, а глаза большущие, синие-синие, и кудерьки белокурые колечками – ну точно ангел сошел с неба душу мою пропащую спасти.

Так вот и живем с им. Нюрка моя с Маруськой бабушки уж, и Зина, младшая наша, внучонка нам принесла. Хорошо живут со своим, грех жаловаться. Она мне, когда я ей после рассказала про все это, говорит: «Каламбуром он тебе помог». Что за «каламбур»? – я и слова-то эдакого не слыхала сроду... Не скоро нам ее Бог дал, Зинулю, а дождались, слава Богу. Миша уж очень хотел...

Он той ночью от окна мово не отходил, все стерег меня – как Софья, мать-то его, про меня тогда высказала. Сызмальства, говорит, влюбленный в меня был. А и как взбрело ему в голову шутку эту сшутить, каламбур этот самый, что перевернуло оно во мне все как есть – не знаю. Он-то говорит, совсем ему тогда было не до шуток. Не иначе как Бог надоумил.

В

ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ...

Стэф САДОВНИКОВ

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

(Окончание. Начало на стр. 1, 36)

Городок домов небытия. Он есть, и – нет его. Некий живой двумерный кусок пространства. Сплошной фас без профиля. И сколько такой плоской двухмерности сбоку ни заглядывай, все же остается странное ощущение от иллюзии объема. Некая голографическая обманка. Объем небытия.

«Какой-то голоград – голодом – гололюд – голодень...» – мучился он.

«Город, как и люди, – продолжал размышлять автор, – имеет довольно малопривлекательное и непреложное свойство старения. Но если плоть его и душа будет постоянно подпитываться энергией человеческой любви, то у него есть шанс выжить».

А мысль все продолжала точить и слагать:

...И это не я в городе есть,
а он во мне живет,
западая в глазах моих
своими поблекшими
фасадами и вензелями,
уникальным неярким
цветом и светом
декоров дворов
и узких запыленных улиц.
И уж не в небе,
а во мне летит, не улетая,
бетонный веночек
мертвых роз с фронтона
бывшего строенья
дома медработников.
И этот дом, как памятник,
впоследствии убитый,
давно стучит, стучит, стучит...
Возможно, это его сердце
переселилось в грудь мою.
И бьется уж не сердце дома.
Сам стал я памятником дома,
стучащим в грудь,
в сердца других...

Автор вспомнил некогда вычитанный симпатичный эпиграф: «Каждому имя свое иметь надлежит»...

Сказывают, что одним из мифологических имен, ставших в изголовье основания нашего городка, было, по одному из преданий, имя средневековой польской страдалицы княжны Разорецкой, стареющей пани и, как водится в шляхетских голубых кровях, со слабеющим здоровьем.

И вот, как-то перешагнув северные горы Татранские, прислонилась она всей душой к голубо-ясному, но жаркому здешнему нашему небу. И это жаркое южное небо, и жирные земли здешнего междуречья, казалось, возродили нежной пани драгоценное ее самочувствие, возвращая болезной княжеской плоти почти утраченную истому...

...И городок был зачат в окрепшей княжеской утробе. Еще, конечно, не город, не место, и даже не местечко, а так – некая разорецкая прихоть...

И жгла-выжигала наш городок
золотая орда жадноокая,
и грабили жестокие янычары турецкие,
и попадал он под немилосердные тиски
имперских амбиций,
и делили его красные и белые,
и топтали его эсэсовские
и тоталитарные свои сапоги...
А городок разрушался и отрастал,
и не было покоя ни ему, ни людям его.
И, в конце концов, негасимый огонь
богов олимпийских
прошел сквозь него на излете XX века,
испепелив собою весь центр, который исчез,
как будто и не был...

...А люди хотят жить вечно...
И города хотят жить вечно.
Рим – вечный город.
Наш – всегда
хотел быть...

И еще долго-долго до малыша доносился голос городского сумасшедшего или поэта, лепечущего свои невнятные стихи, прилетевшие к нему непонятно откуда:

Липнет к холсту моросящий пейзаж –
словно мираж.
Врос по колено в город поэт –
грустный сюжет.
Руки по локоть лежат на столе –
наедине.
Вместо лица – окна да дверь –
ты им поверь.
Скатерть взрывается входом творца –
свет без конца.
В небе пульсирует охра его –
но без него.
Понизу сердце, сверху плита –
давит она.
Голос, остывший над этой плитой –
это покой...

«А знаете, – сказал, очнувшись от наслоившегося времени, тот самый очень интеллигентный старик, сидевший на малоудобной бетонной скамье, но уже не в скверике, а на новой огромной и праздно-пустынной площади:

– Есть время любви...

Старик замолк, но затем снова едва слышно:

– Есть час отдыха...
минуты поцелуя и...
мгновенья зачатий...
Всему есть – время...

Старик помолчал и с трудом продолжил:

– Всему – есть всё...
И есть время памяти...
И всё есть – память наша...

Малыш, закрывая страницу своего путешествия, озорно улыбнулся, потом посерьезнел и, почти как взрослый, добавил автору:

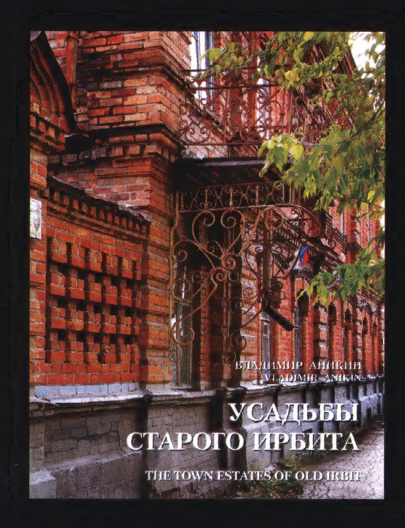
А ведь память, не имеющая
ни времени,
ни счета –
есть бесконечность
конца.
А?

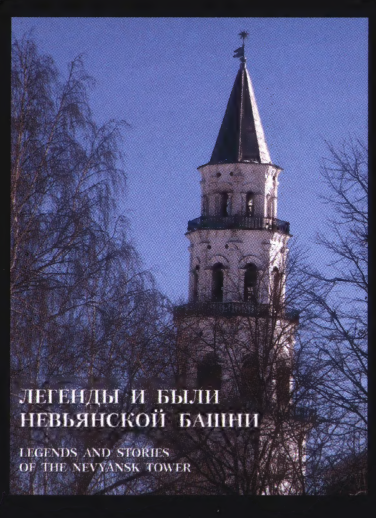


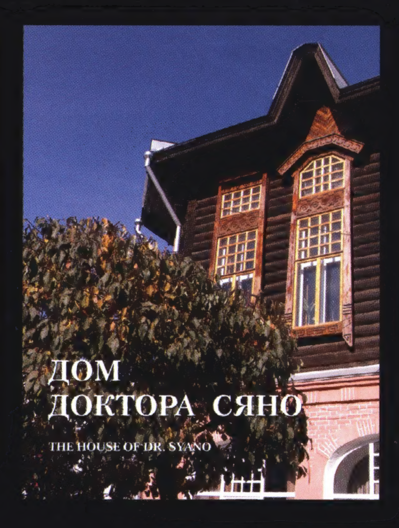
И кто вообще знает природу многомерности пространства и времени...

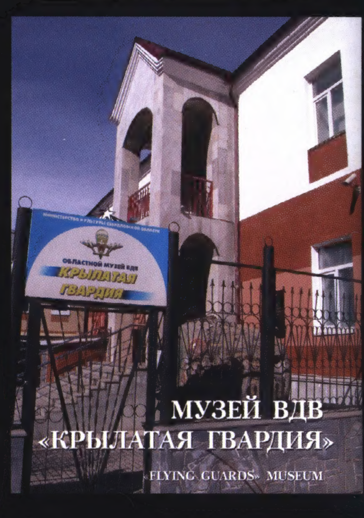


Он любил свой город и все его старые дома...

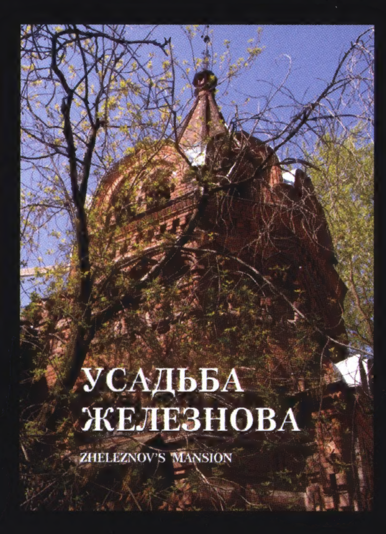


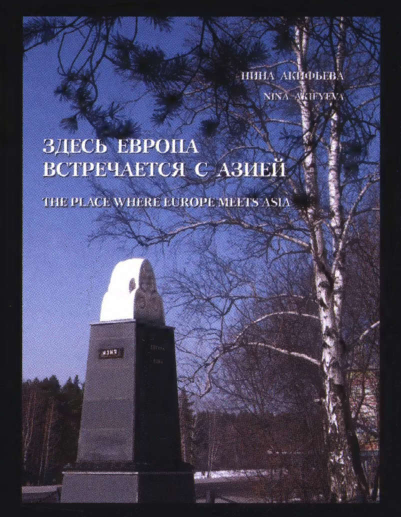


















Национальное достояние России

Банк культурной информации:
ukbkin@gmail.com

